



ЮРИЙ ПАХОМОВ

полковник медслужбы в отставке

“А МОРЕ И СТОНЕТ И ПЛАЧЕТ...”

Из книги воспоминаний “Город-крейсер”

Всё впереди!..

Мне совсем не было горько покидать родной городок, он как бы уже оставался в стороне, бледнел и стирался в памяти перед тем, что проступало впереди, сформированное пока что в виде смутного всадника, застывшего на вздыбленном коне.

Впереди были каналы с тёмной водой.

Белые ночи.

Крейсер “Аврора”.

Но самое главное – там располагалось прекраснейшее в мире учебное заведение: Военно-морская медицинская академия.

Три дня я ходил оглушённый по громадному, показавшемуся мне необыкновенно мрачным городу, оглушённый в буквальном смысле, ибо, в самом деле, оглох, временно оглох на оба уха в тот самый момент, когда старенький Ли-2 тяжело присел на Ленинградский аэродром.

После зелёного городка с одноэтажными домиками, летними печками во дворах, живописным базаром, садами – громадно-серый Ленинград представился вдруг окаменевшим и нежилым. К тому же я никак не мог представить город объёмно, и оттого он виделся несколько плоским, будто вырезанным из оцинкованной жести.

Ленинград, как мне кажется, имеет удивительное сходство с лёгким крейсером. Но это сравнение пришло позже.

А в светлую июньскую ночь всё было как-то не так, одиноко было, и пугала табличка “Приёмная комиссия” у двери тяжеловатого, с куполом, похожим на тубетейку, здания бывшей Обуховской больницы.

В голове почему-то постоянно вертелась строчка из тургеневского стихотворения в прозе: “О, ты, что желаешь переступить этот порог, – знаешь ли ты, что тебя ожидает?”

Ничего особенного меня не ожидало. В низкой, со сводчатым потолком комнате – прямо-таки монастырской келье – сидел пожилой майор с полным приветливым лицом. Стол, за которым он сидел, и два других стола рядом были завалены документами, и я с внезапным холодком ужаса понял, что весь этот ворох бумаг – документы поступающих. И где-то среди них, словно щепка во взбаламученном океане, исчезнут и мои документы.

– Здравствуй, – сказал майор. – Как фамилия?

Он надел очки и уткнулся в список, где ровными рядочками стояли крестики. Рядом с моей фамилией он тоже вывел крестик.

– Сегодня приехал?

– Ага.

– Привыкай отвечать не “ага”, а “так точно”, – майор усмехнулся. – Сдавай документы, рассыльный тебя проводит. Рассыльный! – крикнул он.

На пороге возник матрос, крепкий, осанистый, с вислыми усами.

– Пулянов, проводите поступающего наверх, к старшине.

– Пошли, – сказал матрос и неторопливо повёл меня по мрачному коридору, а потом по крутой лестнице. И, пока мы шли, меня не оставляло впечатление, что мы то ли в церкви, то ли в музее: вдоль всей лестницы, в специальных проёмах покоились бюсты каких-то великих людей. Было темно, и великие люди показались мне все на одно лицо.

Естественно, я тогда и предположить не мог, что, шагая по крутой, с оббитыми ступеньками лестнице, я иду на встречу с героями моего повествования.

... В углу кубрика худой лохматый парень колотил гантелями по тумбочке и орал:

– Поднялся я на сто второй этаж, там буги-вуги лабают джаз...

Звали его Эрик – добрый весёлый парень, умевший шевелить кончиком носа. Эрику не повезло: после третьего курса его отчислили по болезни, и ему так и не удалось надеть форму морского офицера. Он исчез, исчез навсегда. Пожалуй, это единственный однокашник, о котором я ничего не знаю.

Грохот гантелей перекрыл командирский голос:

– Дробь, прекратить шум! Ещё раз увижу с ногами на койках, будете наказаны.

В дверях стоял сурового вида старшина первой статьи, высокий, худой, бровастый. Звали его Николай Ермилов. Он уже успел окончить фельдшерское училище и отслужить четыре года на линкоре “Октябрьская революция”. Его жизненный опыт не шёл ни в какое сравнение с нашим опытом вчерашних десятиклассников.

– Вот, новенького привёл, – сказал матрос Пулянов. – Медалист... на нашу голову! – хмуро добавил он. И звучно хлопнул себя по затылку.

Пророчество, или Стрижка “под “ноль”

Когда происходит перелом в жизни, и вы оказываетесь на гребне судьбы, непременно встретится человек, который безошибочно предскажет то, что произойдёт с вами в ближайшие двадцать пять лет. Именно таким человеком стал для меня парикмахер Макс.

Если бы существовали учёные степени среди парикмахеров, Макс, безусловно, получил бы степень доктора парикмахерских наук, а возможно, его избрали бы и в академики. Достаточно было взглянуть на его руки с тонкими чувствительными пальцами, покрытые желтоватым налётом, точно после йода. Руки жили своей особой, одухотворённой жизнью, и я убеждён: вложи в них скальпель, кисть или грифель, они сотворили бы чудо. У Макса были руки творца.

Густой серебристый бобрик, высокий эллиптический лоб, тёмные, с гипнотическим блеском глаза и какая-то неторопливая стремительность движений, в которых были и полёт, и точность, и, я бы сказал, музыкальность, словно, намыливая щеки клиента, он одновременно дирижировал оркестром, – вот некоторые штрихи к портрету Макса.

На Максе всегда был чистый, накрахмаленный халат. Гласные он произносил в нос, как старый петербуржец, может быть, потому маленькая парикмахерская с облупленным потолком, с пятнистым, как в бане, зеркалом в тяжёлой, выкрашенной бронзовой краской раме напоминала артистическую уборную.

Прикасаясь надушенными пальцами к розовой лысине клиента – профессора-терапевта, Макс спрашивал:

– Так что же ваш подопечный, дорогой Аркадий Галактионович? Как его докторская?

– Ха, стрекулист! Из молодых, да ранний, – усмехался профессор, презрительно выпячивая губу. – Автореферат в печать отправил. На предзащите

все сидели с открытыми ртами – никто ни шиша не понял... Алгоритмы... компьютеры... Как вы, голубчик, помните... из обычной мухи... знаменитой “мушки доместика” выдули несколько кандидатских и одну докторскую... Так и мой Коленька ухватился за новинки. И пошло, поехало... Математика, кибернетика... Сейчас модно. Не то что мы, старые клиницисты: глаз, палец, ухо – вот и весь арсенал. Да-а, на погост пора, на погост...

– Что это вы погребальные речи завели, уж не от зависти ли?

– От неё, от неё, злодейки. Ничему так не завидуешь, как молодости.

С доцентом-биохимиком Макс говорил о проблемах тканевого дыхания, о сложных ферментативных системах и о синтезе белка.

Доцент покрывался капельками пота, краснел и всё порывался выскочить из кресла.

Макс усаживал его обратно и насмешливо говорил:

– Видите ли, дорогой мой, от ваших оппонентов я отличаюсь тем, что в качестве кондродоводов могу отрезать уши. Представьте себя в аудитории... без ушей. Срам!

Нам только что зачитали приказ о зачислении в Военно-морскую медицинскую академию, и я ощутил себя на гребне судьбы. Было скользковато и ветрено. И тоскливо от неопределённости. Тогда я ещё не знал, что радость может обрести самые неожиданные формы. С гребня виден был старинный парк бывшей Обуховской больницы, серые пирамиды дров, памятник Пирогову, мрачноватые трубы котельной и где-то посередине, справа от асфальтовой реки, посверкивал огонёк парикмахерской.

Новая жизнь начиналась со стрижки “под ноль”.

– Прошу вас, дорогой мой, – величественно сказал Макс и указал мне на кресло.

Стрёт машинки совпал с шумом падающей воды... И я уже плыл, унося пророческие слова Макса: – Умеренно честолобив... Склонен к самоанализу. Тип нервной системы – художественный. Волос хватит только до факультета усовершенствования врачей...

Передо мной разворачивался гороскоп. Я потрясённо молчал. Панорама судьбы, выписанная скупыми и точными мазками, выглядела несколько плоско: ни взлётов, ни падений. По такой дорожке можно спокойно ехать на трамвае. Легковых автомобилей не предвиделось. Где-то рядом всплыла проблема облысения.

Я посмотрел в зеркало на свой лимонного цвета череп и понял, что всё сбудется.

– Следующий, – сказал Макс.

Он умер, как умирают мыслители и художники. Мгновенно, от инфаркта. И парикмахерской той уже нет. Там сейчас, кажется, склад.

“А море и стонет, и плачет...”

Той весной я влюбился в корабли. Я даже помню день и час, потому что стоял “на часах” у бочек с известью в двадцати метрах от строящегося здания клиники Военно-морской медицинской академии. Раньше здесь был парадный вход, обращённый к Фонтанке, и на клумбе цвели петунии, клумбу ограждали якорные цепи, выкрашенные кузбасс-лаком.

Для чего мы патрулировали у новостройки, никто не знал, украсть там было решительно нечего. Я дохаживал предутренние часы – знаменитую “собаку”.

Было холодновато. Я приплясывал на холмике, который раньше был клумбой, – только цепи теперь напоминали об этом. Над головой с самоварным гулом шумели деревья. Ночью, когда я заступил патрулировать, в недостроенном здании ухал филин. Филин редко кричит к добру. Я швырял в темноту, где он кричал, куски окаменевшей извёстки и ругался.

Было ещё серо, в промежутке между домами проступала лёгкая синь.

И вдруг вышло солнце.

Солнце выкатилось из-за крыши дома, окрасило воду в Фонтанке в кирпично-красный цвет. На этом мрачноватом фоне старенький дебаркадер, шлюпки у него выглядели как-то особенно красиво, словно на картинах Альбера Марке. Правда, я не уверен, что тогда в голову мне пришло именно такое сравнение.

Из-под моста вынырнул парходик, белый и сверкающий, и над спящим городом загремело:

*В белом городе у моря
Вновь увидимся с тобой...*

Мне кажется, именно в этот момент в сердце вошла любовь к кораблям.

Впрочем, любовь к кораблям возникла, возможно, ещё раньше, во время лагерных сборов в Приветнинском, когда после стрельбы мы сидели на прибрежных валунах. Плескалась бесцветная вода Финского залива. И вдруг далеко, из сероватой дымки у самого горизонта проступил силуэт крейсера, оказавшегося на самом деле учебным кораблём “Комсомолец”.

Этого учебного корабля уже нет. Много лет назад его разрезали автогеном на части, потом везли на открытых платформах к металлургическому комбинату, и люди с изумлением разглядывали покрытые ржавчиной листы стали с наростом водорослей и раковин, пустые глазницы иллюминаторов и диковинных размеров трубы, напоминающие гаванские сигары.

Потом его расплавили в огне мартена, и навсегда исчезли переборки угольного трюма с надписями, выцарапанными поколениями курсантов, исчезли могучие кнехты с надписью “Океань”, хорошо помнившие изящных гардемаринов морского корпуса, времена плавания Второй Тихоокеанской эскадры, а много позже — и нас, восемнадцатилетних мальчишек, облачённых в синие, ещё не успевшие вылинять робы.

А было так.

В Кронштадт нас отправили на буксире, маленьком и чёрном, похожем на закопченный лапоть. Неловко было нам, “морским волкам”, забираться на столь уютное судёнышко — на набережной Лейтенанта Шмидта стояли знакомые девушки.

Помнится, я устроился в корме, на жёстком, со скользкой рубчатой поверхностью барабане, как потом выяснилось — на обычной стиральной машине.

От Кронштадта в памяти остался синий огонёк на мачте дежурного корабля, напоминавший остывающую звезду, да ещё какие-то склады, амбары и бесконечный причал. Наши шаги звучали напряжённо и гулко, словно под бревнами причала была бездна.

Учебный корабль “Комсомолец” возник из темноты молчаливой глыбой. Корабль походил на брошенный дом.

Таким я увидел его впервые вблизи.

Его ещё нужно было узнать и полюбить. Полюбить огромные кубрики с хлипкими подвесными койками, кочегарку, топки, комингсы, пиллерсы, ватервейсы и замечательно просторные прокладочные палубы.

Широкие квадратные иллюминаторы прокладочных палуб глядели в море, где раскачивались зеленоватые пенные глыбы, мигали в тумане огни портовых городов и где однажды в бинокли мы с трудом разглядели акварельные штрихи плавучего маяка “Хельсинки”.

В прокладочной палубе нас учили водить корабли. И я помню, как был потрясён капитан первого ранга, штурман, обучавший нас прокладке, увидев, как Боб Певцов уверенно прокладывает курс через Африканский континент. Его корабль находился в этот момент в самом сердце Сахары, корабль огибал песчаные барханы, вспугивая пустынных грифов, и молчаливые бедуины принимали его за мираж.

Капитан первого ранга выкинул циркуль за борт и пошёл в лазарет за таблетками от головной боли.

Там же, в прокладочной палубе, лежал старый чугунный жёлоб, по которому сбрасывали за борт шлак. Однажды после вечернего чая мы с Эриком положили тяжеленный жёлоб поперёк палубы и вырубили свет. Каждый, кто шёл через прокладочную палубу в кино, спотыкался в темноте о жёлоб, падал и говорил разные слова. Говорили, впрочем, все одно и то же. Но замечательно другое: грохнувшись на палубу, очередная жертва тут же усаживалась на прокладочных столах, ожидая, кто следующий.

Последним рухнул дежурный “по низам”, долгоязыый парень. Падал он точно в замедленной съёмке, и слышно было, как звенит, перекатываясь, мелочь в его кармане.

За этот эксперимент нам с Эриком дали по пять нарядов вне очереди. Но это было потом.

А сначала был ночной Кронштадт, синий огонёк на мачте, трап над пус- тотой, колокола громкого боя и первый поход, когда на зелёные, бутылочно- го стекла волны мы, не приученные к морской болезни, блевали с каждой па- лубы, и в муках рождалось наше морское братство.

Корабль напоминал Ноев ковчег, на нём были собраны курсанты несколь- ких училищ: будущие корабледоводители, морские врачи, инженеры, связисты. Мы скатывали и лопатили палубы, шуровали уголёк, стояли вахты, а в сво- бодное время пели под гитару знаменитую курсантскую песню:

В та-зу ле-жат четыр-ре зуба!

А я, как безумный, рыда-а-л...

Нам было девятнадцать. Мы готовились стать членами самого дружного в мире коллектива — экипажа корабля!

А пока старина “Комсомолец” то и дело давал понять, что морская служ- ба — не сахар и в море должны ходить люди с твёрдым характером.

Непостижимы законы памяти.

Можно было сейчас, например, вспомнить первое в моей жизни морское учение — учение Балтийского флота, когда из-за дымовой завесы выскочили вдруг торпедные катера и пошли в атаку на нас, и тревожно заныло сердце: а вдруг “взаправду”? И как легко стало, когда застучали орудия и с тусклого, как застиранная простыня, неба стали пикировать наши истребители-бомбар- дировщики, и сквозь синеватую предрассветную мглу обозначились очерта- ния идущих к нам на помощь кораблей с крейсером во главе.

— Та-та-та! — стучали пулемёты.

Тёмная линия горизонта внезапно лопнула, пропуская багровый купол солнца, тревожно запылали облака, и по “Комсомольцу” покатились жут- кая команда: “Газы”...

Можно было вспомнить заход в Лиепая — чистенький зелёный городок с игрушечными трамвайчиками, первый наш “берег” после двухнедельного плавания, рождавший ощущение, которое испытывают моряки, оказавшиеся в иностранном порту.

Но больше всего почему-то запомнилась первая вахта в кочегарке.

И первая флотская селёдка...

Часа в четыре утра матрос-рассыльный неласково вытряхнул нас из под- весных коек.

— Ты чего, а? — испуганно тарачился Эрик, потирая ушибленный о палу- бу зад.

— Чего, чего. На вахту. Спите, как суслики.

С кораблём, между тем, происходило нечто странное: он то, покряхты- вая, взбирался на гору, некоторое время застывал там, потом тяжело, со вздохом, скатывался, и в самой глубине его что-то скрежетало, ухало, гре- мело.

Кубрик, освещённый голубоватым светом плафонов, был пуст — опустев- шие койки как бы парили под потолком, изредка сталкиваясь друг с другом. Всё это производило странное впечатление.

— Где остальные? — спросил я.

— Блюют, — коротко пояснил дневальный. — До десяти баллов раската- ло. Готланд проходим.

А море, как в песне, стонало и плакало, иногда переходя на вой.

Дневальный долго вёл нас полутёмными коридорами, стремительно со- скальзывал в какие-то люки, откуда бил тёплый, пахнувший машинным мас- лом воздух.

Наконец, мы опустились на скользкие пайолы, где-то у самого днища ко- рабля, — море гудело уже над головой, — и огромный, с бронзовой волоса- той грудью кочегар весело заорал:

— А-а! Пидмога пришла. О, це гарно... У-у, орлы! Доктора, что ли? Нор- мально! Что делать будете? Сейчас узнаете.

Он прошёлся перед нами, почёсывая грудь, и, точно в бочку, сказал:

— Вот лопата, вот уголёк. Шуруй, мариманы! Делай, как я.

Он подхватил на лопату несколько увесистых кусков угля и метнул в топку. Получилось ловко, точно в руке у него была не лопата, а бильярдный кий.

– О, тебе хорошо... А ну-ка вот ты, мосластый, попробуй.

Я взял лопату и попробовал сделать то же самое. Не тут-то было! Дверца топки захлопнулась раньше, чем я успел забросить уголёк, только куски брызнули в разные стороны. Со второго раза мне удалось забросить в топку... лопату.

– Ото ж да-а! – веселился кочегар. – Ну, артисты! Не стоять, вкалывать! То тебе не клизму поставить.

Ревело море, ревели вентиляторы. Никогда бы не подумал, что лопата может быть такой тяжёлой.

От жары и качки всё вокруг плыло перед глазами. Котел разбухал на глазах, заполняя всё пространство кочегарки, а прожорливые топки всё требовали и требовали угля.

Уголь к топкам приходилось подтаскивать в вагонетках. Нагружались вагонетки в узком, как гроб, бункере.

В сумрачном лампадном свете, под близкий грохот моря я швырял в вагонетку куски угля и ругался.

– Шуруй, мариманы! – покрикивал кочегар.

А мне хотелось лечь на пайолы и думать о чём-нибудь хорошем, но в голову упорно лезли слова песенки: “На палубу вышли, а палубы нет, её кочегары пропили...”

Эрик маялся – его вот-вот вывернет наизнанку.

К нашему счастью, откуда-то из глубины кочегарки возник плотный, кудрявый старшина. Он усадил нас под вентилятором и дал воды.

– Ничего, курсачи. На флоте трудно служить только первые двадцать пять лет, – сказал он. – Матушенко, ты чего, сачок, расселся? Ребята, что негры на плантации, уродуются, а ты сидишь. Давай живо вагонетку с углем. А вы, ребята, отдохните малость, а потом я вам покажу, что и как. Дело-то нехитрое.

К восьми часам утра качка стала утихать. Мы с Эриком еле держались на ногах.

Старшина принёс большой медный чайник, достал из тумбочки селёдку, хлеб, сухари и предложил:

– Присаживайтесь, курсачи, перекусим.

– Люблю пожрать, – сказал кочегар-громилла по фамилии Матушенко. – Сидайте. Чаёк у нас особый, кочегарский. Из этого чайника, – он с нежностью погладил медный лоснящийся бок, – можно сказать, Римский с Корсаковым чаёк гоняли. То-то! А теперь мы. Чудно даже.

Через несколько лет я узнал, что на судне “Океань”, переименованном потом в “Комсомолец”, морскую практику проходил гардемарин Римский-Корсаков, будущий композитор, а позже – писатель Виктор Конецкий. С Виктором Викторовичем мы встречались несколько раз, переписывались. В одном из писем он писал: “Масса, конечно, пересечений у нас с Вами в морской жизни”...

Мы пили крепкий чай, ели тёплый поджаристый хлеб и селёдку. Чудо-селёдку!

До конца вахты оставалось полчаса. Корабельный хронометр равнодушно проглатывал минуты. Там, наверху, уже было светло, влажный ветер срывал пену с гребней волн, трепал брезентовый плащ на крошечной фигурке вперёдсмотрящего. На вахте стояли наши ребята: медики и будущие связисты, инженеры и минёры. И пусть не мы сегодня вели корабль, пусть выполняли второстепенную работу – корабль шёл, шёл вперёд, и это было самым главным.

– Ну что, курсачи, – сказал, наконец, старшина, – шабаш, как говорится. Благодарю за службу. Тяжеленько пришлось? Ничего. Привыкнете.

Матушенко положил мне на плечо тяжёлую руку и, улыбнувшись, сказал:

– Вы не сердчайте, хлопцы. На корабле без подначки, что харч без соли. Шкура будет крепче. В санчасть сходите, руки надо перевязать. Ишь, музулей нарвали, интеллигенция.

– На вахту проситесь только к нам, – напутствовал старшина. – Здесь работа так работа. И селёдочка что надо.

Когда мы уже подошли к трапу, Эрик вдруг сунул руку в вагонетку с углем, потом, осторожно оглянувшись, растёр по лицу угольную пыль.

— Для колорита, — пояснил он мне. — Как-никак, мы с тобой теперь чечегары. Давай-ка я и тебя оформлю. — И он старательно вымазал мою физиономию.

Корабельная сторона

Море даёт морякам суровые уроки. Несколько лет спустя и я получил такой урок.

Хорошо помню то январское утро 1961 года. Севастополь. Корабельная сторона, солнце, иней на крышах, пустые, прозрачные сады. И запах, скорее осенний, чем зимний: солений, перебродившего виноградного сока и ещё дыма костров — в садах жгут листья.

Я возвращался домой после дежурства в госпитале. Нас, небольшую группу врачей-подводников, направили на усовершенствование по хирургии. Ночка выдалась хлопотная: несколько часов у операционного стола, а под утро привезли моториста с проникающим ранением сердца. Парня спасли. И, хотя я только ассистировал, всё моё тело, до последней клеточки, было наполнено приятной усталостью, какую всегда испытываешь после удачно проведённой операции.

Мы с женой снимали крошечную комнату в доме, стоящем на улице, скатывающейся к морю, и ночами было слышно, как ворочается, живёт, погромыхивает Корабельная сторона, а утром этот равномерный, неумолчный гул пробивали пронзительные трели боцманских дудок, а чуть позже, во время подъёма флагов на кораблях, трубили горнисты.

В нашей комнатке стояла старинная кровать с медными шарами на спинках, пузатый комод, а в кухне над печью висели гирлянды лука и чеснока. Во дворе за сараем прилепилась коптильня. Хозяйка, вдова моряка, коптила в ней янтарную, с золотыми прожилками барабульку. В ветреную погоду ветви миндаля с лёгким звоном стучали в окно.

Я шёл, представляя уютную тишину комнаты, нашего временного жилья, прибежища посреди дорог, перестука колёс вагона, тоскливого крика паровоза, сулящего разлуки и радость встреч. Я был счастлив в то утро, с жадностью вдыхал горьковатый дымок костров, чадающих за высокими каменными заборами, и всё вокруг виделось отчётливо, остро и так же остро запоминалось. Я миновал площадь, на которой стоял пустой троллейбус с опущенной дугой и молочно-белыми, запотевшими за ночь стёклами, и тут увидел их. Три офицера и мичман шли странной какой-то походкой, будто не шли, а плыли, поддерживая друг друга. И я не сразу понял, что они пьяны. Я знал этих парней — вместе столовались в бригаде подводных лодок.

“Что это они с утра пораньше?” — подумал я и пошёл навстречу, вглядываясь в их окаменевшие лица, ещё не испытывая, а как бы предчувствуя тревогу.

— Привет! — сказал я. — Со свадьбы, что ли?

— Какая свадьба, — хмуро отозвался старший лейтенант, штурман. — С-80 не вернулась из полигона. — Губы у него дрогнули. — А у меня на ней друг, на соседних койках в училище спали.

С-80? Лодок с таким номером в нашей бригаде не было...

— А где? В каком полигоне? — растерянно спросил я.

— На Северном флоте. Второй день ищут. Гробанулись, видно...

И они прошли мимо, унося на плечах тяжёлую ношу горькой вести. А вокруг всё кричало о жизни, о скорой крымской весне с влажными ветрами и розовой пеной цветущего миндаля.

Я стоял, ощущая, как струйка холодного пота соскальзывает между лопатками, пытаюсь осознать грубоватое и ёмкое “гробанулись”, а перед глазами встал другой день, сущность которого я понял только сейчас. Ведь и мы могли...

Наша лодка дифферентовалась неподалёку от Феодосии. Обычный плановый выход. Я сидел на своём “боевом посту” — за обеденным столом во втором отсеке, на котором в случае необходимости я должен был оперировать. За спиной — посудный шкаф. На противоположном конце стола примостился замполит, шелестел какими-то бумажками. Шипение сжатого воздуха, плеск воды, запах щей и мокрой резины. И вдруг лодка провалилась вниз,

в глубину, с резким дифферентом на корму. Замполит упал со стула, посудный шкаф распахнулся, и фаянсовые тарелки, описав дугу, с грохотом расколосились о край стола, осколки брызнули в разные стороны. А лодка стремительно соскальзывала вниз. Ничего, не понимая (это был мой второй выход), я ухватился за дверцу шкафа, и тут тишину рассёк крик. Я с трудом узнал голос механика. Лодка дрогнула, замерла на месте, покачалась, в глубине её что-то хрустнуло, зашипело, и стало слышно, как булькают пузыри воздуха. Длилось это, как мне показалось, целую вечность, и в себя я пришёл только тогда, когда услышал тяжёлый всплеск: лодка всплыла по-аварийному и покачивалась теперь на волнах. Несколько секунд тишины, и спокойный голос командира возвестил: “Свободному от вахт офицерскому составу разрешается подняться наверх”.

Я отдраил кремальеру, протиснулся в межотсечный люк в центральный пост, снял с крючка жетон и по скользкому трапу поднялся в рубку. Объёмный, наполненный солнцем мир. В отдалении, сквозь дымку проглядывались горы. Волны заплескивали в шпигаты и с шипением опадали. Отсюда, с высоты рубки, лодка казалась маленькой и ненадёжной.

– Доктор, а что сегодня на обед? – с усмешкой спросил командир.

– На обед? – поразился я, не понимая, как после того, что произошло, можно думать об обеде.

– Что рубать будем, док?

Я сказал, сказал и про разбитую посуду.

Командир рассмеялся.

– Не забудь отметить это событие в вахтенном журнале, а то тыловики потом затаскают, начёт пришлют. Ничего, сервис для кают-компании купим. Скинемся по рваному, и купим.

В рубку поднялся механик. Он был голым по поясу. На груди, испачканной машинным маслом, проступили крупные капли пота. Пилотка сдвинута на лоб. Он жадно закурил.

– Ну что, механик! – в голосе командира послышались жёсткие нотки. – Так провалиться при дифферентовке! А дно-то здесь илистое, воткнулись бы кормой и... – Он не закончил, швырнул папиросу за борт. Окурок подхватило ветром и отбросило метров на пять...

Дурные вести быстро распространяются по флотам. Вечером мой однокашник, с которым я учился на курсах, сказал:

– На С-80 Володя Зубков был. Обеспечивал выход. Поиски лодки продолжаются, но, скорее всего, лодка погибла.

Боже мой, Володя! Разом погас целый мир: это и тот окопчик с рыжим осыпающимся бруствером, откуда в военном лагере под Приветинском мы с ним бросали учебные гранаты; и тяжкий, одуряющий запах анатомички; и удивительная кафедра боевых средств флота, где в коридоре шелестели знамёна, на стеллажах лежали торпеды и мины, где устройство шлюпки преподавал мичман по прозвищу Карасин, и мы от него впервые услышали звучные, как заклинание, слова: пиллерс, подлегарс, ширстрек; это и первая самостоятельная операция, и первый самостоятельно поставленный диагноз; и, наконец, удивительное, ликующее чувство, которое все мы испытали, когда, скосив глаза, впервые увидели на собственных плечах новенькие погоны с лейтенантскими звёздочками, а у левого бедра ощутили приятную тяжесть кортика. Неужели всё это может исчезнуть?

О подводной лодке С-80 ходили невероятные слухи; один, самый нелепый – лодка со всем экипажем ушла к... супостату. Говорят, семьям погибших какое-то время даже не выплачивали пенсии. Пресса в те годы угрюмо отмалчивалась. Первые сообщения появились лишь в 1990 году.

Из рассказов участников ЭОН – экспедиции особого назначения, документов, публикаций мне удалось более-менее точно восстановить события, произошедшие много лет назад. К тому же, какой-то собственный опыт у меня уже был.

27 января 1961 года подводная лодка С-80 под командованием капитана третьего ранга А. Ситарчика шла под перископом в режиме РДП – работы дизеля под водой. Штормило. В том районе Баренцева моря всегда неспокойно. Выдвижные устройства покрылись коркой льда. Когда волна захлёстывала шахту РДП, дизель начинал стучать с переборами, в отсеках падало давление, и рулевой-горизонтальщик морщился, удерживая штурвал. Где в этот момент был Володя Зубков? Скорее всего, на “боевом посту” – во втором отсеке.

Командир лодки не отходил от перископа. Ударил снежный заряд, видимость резко снизилась, а тут, как всегда бывает по закону подлости, забарахлила радиолокационная станция. Командир развернул перископ и сквозь белесую муть с трудом различил тень судна, скорее всего, траулера, пересекающего курс лодки, коротко скомандовал: “Лево на борт!” – пытаюсь разойтись с траулером, но через несколько минут понял: опасность столкновения сохранена, и тогда последовала команда: “Срочное погружение!” Дизель замер. Наступившую тишину разорвал нарастающий гул поступающей воды, и лодка стала стремительно проваливаться на глубину. Трагедия произошла в 14 часов 20 минут.

Это потом комиссия установит, что у С-80 была конструктивная особенность: шахта РДП оказалась значительно шире, чем на других средних подводных лодках, на верхней крышке шахты намёрз лёд, и она не могла закрыться. Когда вода ринулась в пятый отсек, два моряка пытались предотвратить аварию, но было уже поздно. Их так и нашли вместе. Установлено и то, что экипаж до конца боролся за живучесть корабля, и им удалось сделать почти невозможное – мягко опустить лодку на грунт. Они пытались всплыть, но иссякли запасы воздуха высокого давления...

До глубокой осени в районе, где затонула С-80, шёл интенсивный поиск. В поиске участвовало свыше 40 кораблей, судов, самолётов и вертолётов – безрезультатно. Флот тогда ещё не располагал эффективными средствами поиска, ещё не было ни гидрографического эхотрала, ни подводной телевизионной установки, ни буксируемого магнитного металлоискателя. И только спустя несколько лет в районе промысла рыбаки случайно зацепили тралом подводный объект. Им оказалась С-80.

Подводную лодку подняли и отбуксировали в бухту Завалишина. Для извлечения тел погибших были созданы бригады врачей. Володю Зубкова опознали по медицинским эмблемам на истлевших погонах. Выяснилось одно странное, почти мистическое обстоятельство: Володя вышел на ракетные стрельбы... не на своей лодке. Однокашник, уезжающий в Архангельск на курсы усовершенствования, попросил Зубкова вместо себя сходить в море, всего на несколько суток. Судьба у этого однокашника тоже не сложилась. Должно быть, его угнетало, что он как бы проживает чужую жизнь.

Четверть века спустя после трагедии белой ночью стоял я у памятника, сделанного матросскими руками, на котором среди прочих имён было начертано: “Лейтенант медицинской службы Зубков В. И”. Лысеющий полковник стоял у могилы юного лейтенанта. Теперь уже вечно юного...

Суровое и строгое место выбрали моряки для братской могилы – скалы, отливающее свинцом море. Тревожный свет рождался в вышине, за ржавыми, напоминающими коралловые рифы облаками, и в свете этом чахлая зелень была ядовито-зелена, а берег, казалось, подёрнула плесень: цвела пушица – клочки ваты, нанизанные на голые жёсткие стебли. За памятником рождался туман, он густел, уплотнялся на глазах, словно поставили дымовую завесу, и в эту туманную пустошь с отчаянными криками кидались чайки, растворялись, таяли в ней.

Я снял фуражку. Лёгкий ветерок шевелил волосы. Всё вдруг как бы застыло. И сопки, и море, и кустики пушицы словно встали в почётный караул. Даже чайки перестали орать. Как вдруг под опалёнными облаками родился звук, точно судорога пробежала по сопкам, звук отдался плаксивым эхом – в бухту входила подводная лодка. Пейзаж был суров. А я видел весёлую суетолюку на площади перед Финляндским вокзалом и Володю в новенькой форме, с улыбкой на губах. Нам только что в старинном парке Военно-медицинской академии вручили дипломы, впереди были дальние дороги, и никто ещё не знал, как сложится его судьба.

Тогда, у Финляндского вокзала, я видел Зубкова в последний раз. Прошло пятьдесят пять лет. Многое из жизни Володи подёрнулось дымкой. Каким он был? Застенчиво-тихий, молчаливый, вроде бы нерешительный. Но в его угловатой фигуре чувствовалась сила. И ещё – надёжность. Теперь, когда мне стукнуло восемьдесят, это качество я стал особенно ценить в людях.

На памятнике надпись: “Вечная память подводникам экипажа ПЛ С-80, погибшего при исполнении служебных обязанностей”. Шестьдесят восемь человек погребены под плитами. Сколько таких памятников стоит на российской земле, а для иных моряков нет и надгробий – только координаты, занесённые

в вахтенный журнал, да изредка – цветы на воде, сброшенные с борта корабля в память о погибших. Сколько вдов, взрослых сыновей и дочерей приходит к могилам! В храмах в те дни горят поминальные свечи, и своды отражают скорбно-светлые слова молитв...

Возрождения к жизни не произошло

Я сейчас уже не помню ни номера той больницы, ни где она размещалась; запомнились грязноватые коридоры, палаты, напоминающие камеры вырезвителя, и дежурные санитары в жёваных халатах, надетых на синюю милицейскую форму. Не уверен, что в наше смутное время ещё существуют такие очаги гуманизма и любви к людям.

А тогда в эту больницу со всего Ленинграда свозили пьяниц, получивших ту или иную травму. Нужно сказать, что случаи встречались уникальные. Во хмелю для сведения счётов люди использовали самые различные предметы: сковороды, пивные кружки, логарифмические линейки, эмалированные тазы китайского производства, стеклотару и даже детские коляски. Я был свидетелем случая, когда в травматологическое отделение доставили мужчину среднего возраста с рваной раной на темени. Клиент владел приёмами бокса и самбо и так изощрённо ругался, что его приняли за матроса с какого-нибудь сухогруза. Мы всей хирургической бригадой, включая дежурного милиционера, привязывали его к операционному столу, при этом он всё же ухитрился правым хуком закатать одному из хирургов в нос. Утром выяснилось, что молодец – доцент кафедры марксизма-ленинизма Лесотехнической академии. Отмечал защиту докторской диссертации!

Мы, слушатели академии, проходили в этой больнице практику. Очень удобно: пострадавших можно было зашивать без анестезии, они и так были под раушем, то есть кайфом, к тому же там нас подкармливали, и мы познавали жизнь в неотредактированном виде. Как-то на пятиминутке начальник отделения сообщил, что под утро в травматологию поступил известный ленинградский писатель Георгий Шамин (фамилия изменена) с переломом костей носа и ушибленной раной правого предплечья, и... в состоянии алкогольного опьянения.

Это сейчас писатели утратили своё значение, встали в ряд обычной обслуги, призванной развлекать утомлённого обывателя. Социологи утверждают, что уже два поколения молодых людей вообще не читают книг. В моё время писатель, да ещё известный, был чем-то вроде мессии. На поэтические вечера было не попасть, свободные билеты спрашивали за два квартала до дворца культуры, где происходила встреча с литераторами.

Роман Георгия Шамина “Возрождение к жизни” я купил с лотка в поезде, отправляясь домой на каникулы, и прочёл под мерный перестук колёс. Не скажу, что роман мне понравился. В нём шла речь о спившемся музыканте, скрипаче, который дошёл, что называется, “до ручки”, и его, в соответствии с канонами социалистического реализма, спасает влюблённая медицинская сестра. Но меня поразили глубокое знание автором методики лечения хронического алкоголизма и подробное, я бы сказал, художественно точное описание клиники психиатрии, где обретался несчастный герой, один к одному напоминающей клинику Военно-медицинской академии. Дело в том, что мы в это время проходили курс психиатрии, слушали лекции знаменитого профессора Чистовича и вели больных.

Об Андрее Сергеевиче Чистовиче нужно сказать отдельно. Потомственный дворянин, учёный, эстет, он представлял древний, чудом сохранившийся род Чистовичей, вошедший в историю отечественной медицины, да и не только медицины. Прадед Андрея Сергеевича, тайный советник Яков Александрович Чистович, в семидесятые годы позапрошлого столетия был начальником Военно-медицинской академии. Под его руководством трудились такие корифеи, как Боткин, Доброславин, Руднев, Склифосовский, Бородин и многие другие. О Чистовичах можно написать захватывающий исторический роман, но оставим эту идею романистам-историкам.

В середине пятидесятых годов Андрей Сергеевич Чистович походил на Бунина времён вручения ему Нобелевской премии: узкое, холёное лицо, седоватые, зачёсанные на пробор волосы, серые, пронзительные, несколько надменные глаза. Говорил профессор на превосходном русском языке. Вообще,

языку дикции, чистоте произношения Чистович уделял особое внимание. “Слово лечит, – любил повторять он, – поэтому важно, как его произнести”.

Свои лекции, несколько академичные и суховатые, профессор оживлял неожиданными репликами, рассказами о таинственном и необычном в природе человека. Как-то, обратившись к аудитории, он спросил: “Сновидения – область особая, об этом мы поговорим отдельно. Скажите, приходилось ли кому-нибудь летать во сне?” Летали, конечно, многие, но признался в этом курсант Вася Природа – здоровенный парень, удивительно соответствующий своей фамилии. Чистович потёр руки и задумчиво сказал: “Представители вульгарно-материалистического направления в психиатрии утверждают, что подобные сны возникают лишь при мгновенном опорожнении кишечника. У меня, признаться, другая точка зрения”. Какая именно, узнать не удалось, старшины несколько минут не могли унять хохочущую аудиторию. У Васи долго потом спрашивали: “Ну как, сегодня летал во сне?”

В другой раз Андрей Сергеевич завёл речь о парапсихологии, телекинезе (это в середине пятидесятых годов!). Оказалось, что он дружил с известным иллюзионистом Вольфом Мессингом. Кому позже довелось читать книги Мессинга, может представить, какое это впечатление произвело на нас. Сейчас бы сказали: “Крыша поехала!” И поедет, если лектор приглушённым голосом вам сообщает, что лично присутствовал при сеансе телекинеза. Пустой спичечный коробок ёрзал по столу под взглядом Мессинга. Однажды Чистович заговорил о Фрейде, его методе психоанализа, хотя теории этого венского психиатра были тогда под строжайшим запретом. Но, конечно же, самый грандиозный эффект произвёл сеанс гипноза, проведённый после одной из лекций. Признаюсь, позже я не видел ни одного действия, которое бы так ошеломило меня. Если профессор-патологоанатом Вайль заставил меня задуматься о вечности, то Чистович подвёл к пониманию некоего иррационального начала в нашем бытии.

Практические занятия по психиатрии мне понравились куда меньше, ибо трудно представить себе более печальное место на земле, чем сумасшедший дом.

С клиникой психиатрии мне довелось познакомиться ещё на втором курсе: сопровождал курсанта из своего взвода. После конфликта с командиром роты с Эриком случилось что-то вроде истерики. Возможно, впечатление усилили белые ночи, но тогда, в приёмном отделении клиники, мне, театралу, показалось, что я присутствую на спектакле с хорошо поставленной мизансценой. Теперь-то я убеждён, что идея театра абсурда родилась в предбаннике такой вот психушки.

Одноактная пьеса запомнилась на всю жизнь. Действующие лица: мальчишка-узбек из военно-строительного отряда, красномордый старшина-сверхсрочник, доставленный в состоянии “белой горячки”, и доцент полковник из артиллерийской академии. Дежурного врача срочно вызвали в палату (что-то там произошло), санитар то и дело куда-то выходил, поэтому никто не мешал развиваться действию. Мы с отошедшим уже однокурсником выступали в роли зрителей.

Солдатик-узбек, сидевший в углу на полу, каждую минуту задира л голову и тоскливо, нараспев спрашивал: “Где-де я?” Сверхсрочник, оживившись, с удовольствием указывал ему место, где тот находится (не трудно догадаться, что он имел в виду), затем начинал что-то брезгливо стряхивать с себя, бормоча: “Зелёные, те ничо, ласковые, а вот красные дже поганы”. Ему казалось, что по нему бегают черти. “Где-де я?” – снова вопрошал страдалец. Сверхсрочник сменял адресование и принимался хохотать. Наконец, это занятие ему надоело, и он обратил внимание на полковника. “Ты кто?” Полковник встал и с достоинством представился: “Гвардии полковник... доцент”. Старшина погрозил ему толстым, как обрезок водопроводной трубы, пальцем и сказал: “Не-е, ты уже не полковник”. “А кто же я?” – тревожно озираясь, спросил доцент. “За нарушение устава внутренней службы я тебя понижаю в звании до подполковника, во!” “Как? Почему?” – у несчастного выступила на губах пена, и он начал кататься по полу. Пришёл санитар, переложил полковника на топчан, успокоил и опять ушёл. И всё началось сначала. “Где-де я?” – тоскливо вопил солдатик. Сверхсрочник озадаченно скрѐб затылок и отыскивал ему подходящее место, затем катался по полу полковник, пониженный в звании до старшего лейтенанта. К моменту появления дежурного

врача я поймал себя на том, что мне нестерпимо хочется задрать к потолку голову и тоскливо завывать: “Где-де я?”

Когда я, оставив однокурсника в этом весёлом месте, покинул клинику, у самого входа прочитал объявление: “Внимание обслуживающего персонала! Большой похитил прут от каминной решётки, будьте бдительны!” Я нёсся по пустынной улице, и мне всё казалось, что за мной гонится некто в белом с прutom в руке.

Однако вернёмся к писателю Георгию Шамину. После “пятиминутки” я помчался вниз, на первый этаж, где в палатах-камерах временно содержались клиенты спецотделения. Дежурный санитар указал мне глазами на пожилого человека, сидящего на краю привинченной к полу койки. Лицо забинтовано, глаз заплыл от чудовищного синяка. Во всей его фигуре было столько безнадежно-горького, что я не решился подойти. На одной из лекций я послал Чистовичу записку, в которой просил уточнить, не лечился ли в его клинике писатель Шамин. Профессор прочитал записку, назвал мою фамилию. Я встал. Андрей Сергеевич глянул на меня: “Отдаю должное наблюдательности коллеги, автор нашумевшего романа “Возрождение к жизни” и в самом деле мой давний пациент, – профессор развёл руками. – Увы, возрождения к жизни не произошло”.

Курс психиатрии закончился, но судьба ещё раз свела меня с этим удивительным человеком. Я тогда увлекался авангардистской живописью, особенно сюрреализмом. Оно и понятно – “оттепель”. В Эрмитаже, Русском музее из запасников извлекли ранее запрещённые картины. Одна выставка сменяла другую. От всего этого голова шла кругом. Сальвадор Дали – альбом с репродукциями его картин каким-то чудом раздобыл мой приятель – настолько поразил меня, что я решил поделиться своими наблюдениями с профессором Чистовичем. Шёл не без робости. Андрей Сергеевич, напротив, встретил меня очень тепло, и вопрос мой его не удивил. Он повёл меня в свой кабинет, усадил в кресло и положил передо мной рукопись монографии, не помню сейчас, как она называлась, но посвящена была творчеству душевнобольных. Монография была иллюстрирована рисунками несчастных, страдающих теми или иными расстройствами психики. Именно от Чистовича я впервые услышал о Марке Шагале и впервые увидел рисунки Чурлёниса. Не знаю, удалось ли Чистовичу издать книгу. Вряд ли.

Пожар в бардаке во время потопы

В пятьдесят пятом году, весной – в парке бывшей Обуховской больницы уже цвела квёлая сирень – в Военно-медицинском музее проходило сверхсекретное совещание руководства военно-медицинской службы страны. Нас, курсантов-первокурсников, вооружённых карабинами с примкнутыми штыками, выставили у входа и на лестнице, ведущей на второй этаж. Задача была предельно простой: проверять у участников совещания пропуска и следить за тем, чтобы в здание не проникли шпионы.

Я стоял на верхней площадке лестницы, и мимо меня в конференц-зал проследовали все светила военной медицины во главе с начальником Центрального военно-медицинского управления. В глазах рябило от генеральских погон, лампасов, орденов и лауреатских значков. Вблизи генералы оказались самыми обычными людьми, они шутили, толкались, как мальчишки, на ходу рассказывали анекдоты. Ко мне обратился ветхий старичок, генерал-лейтенант, маленький, лысый, с детскими голубыми глазами:

– Молодой человек, а я пропуск забыл. Или посеял где-то по дороге. Что теперь делать?

– Не могу знать! – отчеканил я.

– А кто же тогда мне разъяснит? Может, вообще лучше не ходить?

– Так точно!

Старичок хихикнул:

– Так точно – да? Или так точно – нет? Пожалуй, не пойду. Спасибо вам, милый, надумили старого дурака.

И он стал осторожно спускаться по лестнице вниз.

Толпа участников совещания иссякла, двери конференц-зала захлопнулись, и воцарилась совершенно секретная тишина. Было слышно, как на деревьях в сквере чирикают воробьи, изредка с Витебского вокзала доносился

вскрик электрички. Вдруг дверь конференц-зала открылась, и по коридору пробежал подполковник — чистенький, прилизанный, узкое безбровое лицо его выражало глубокую озабоченность. Каждый его шаг отдавался дробным эхом под потолком, казалось, что у него вместо ступней проросли козлиные копытца.

Подполковник спустился по лестнице, и я услышал его приглушённый голос:

— Иван Тимофеевич, пленум начался... Ваше место в президиуме. Не хорошо, право...

— А идите вы все к такой-то матери! — громыхнул бас, даже хрустальные подвески люстры в холле зазвенели. — Чем вы там занимаетесь? Засекретили переливание крови и выгибениваете. Лучше бы пиво в буфет завезли. Ступай, я отсюда послушаю.

Когда подполковник пробежал мимо меня, на лице его запечатлелось такое выражение, словно в галифе ему сунули ежа, и ёж передвигается по штанине.

С верхней лестничной площадки обладатель мощного баса не был виден. Я, крадучись, спустился на несколько ступенек вниз, перевесился через перила и испуганно замер: в холле музея почти под лестницей в кресле восседал генерал-майор в морской форме, он был могуч, грузен, впечатление портила непропорционально маленькая и совершенно лысая головка. Генерал развлекался тем, что крутил на пальце свою фуражку с шитьём. Неожиданно он поднял голову, глянул на меня и подмигнул:

— Гляди, сынок, ружжо уронишь. Вот шуму-то будет! Всё старичье проснётся.

И гулко захохотал.

Начальника медицинской службы Северного флота генерала Цыпичева второй раз довелось мне увидеть только через четыре года, но к тому времени я уже немало знал об этом легендарном человеке.

Девятнадцатилетним мальчишкой он четыре месяца служил фельдшером в банде батьки Махно, потом перекинулся к красным, не то к Щорсу, не то к Котовскому. В тридцатые годы окончил Лесотехнический институт и Военно-медицинскую академию, воевал на Тихоокеанском флоте, на корабле, которым командовал Чабаненко, а когда прославленного адмирала назначили командующим Северного флота, стал у него начмедом. О чудачествах Цыпичева гуляли на флоте анекдоты. Иван Тимофеевич писал стихи, его виршами, в основном санитарно-просветительной направленности, были увешаны стены гарнизонных медицинских учреждений. В Североморске, в поликлинике на улице Сафонова, висел, к примеру, такой лозунг: “Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военно-морского дела”. От лозунга отдавало поздним Маяковским, но тот всё же о “военно-морском деле”, насколько я помню, не упоминал.

И ему всё сходило с рук. Организатором медицины Цыпичев был от Бога, всё новое в те времена зарождалось и осваивалось на Северном флоте, с Иваном Тимофеевичем охотно работали учёные, когда генерал утверждался на трибуне какого-нибудь высокого собрания, зал замирал в ожидании его очередной выходки. А уж второго такого матершинника ни на одном из флотов больше не было. Ругался Цыпичев со вкусом, используя такие переборы, что боцманы только кричали от удовольствия. В Медицинском отделе допоздна светились окна: генерал и офицеры резались в домино. Иван Тимофеевич говорил: “Если в “козла” не играешь, лучше сразу переводись на другой флот”. Он мог в один присест выпить литр водки, не пьянел и потому не переносил пьяниц.

После пятого курса нас, слушателей академии, направили на стажировку на Северный флот. Я оказался на крейсере “Александр Невский”. Крейсер стоял у стенки в судоремонтном заводе с разобранной машиной, надстройки были облеплены строительными лесами, вонь, грохот пневматических молотков, визг пил, всплески электросварки. Заниматься мной было некому, я целыми днями валялся на койке, спал, читал, а вечерами отправлялся на танцы в Дом офицеров флота. Там обычно собирались такие же бездельники с других кораблей. Флот жил в ожидании каких-то крупных событий, и никому не было до нас дела. Погода стояла мерзкая, холод, дождь со снегом, и белыми ночами странно было видеть офицеров и матросов в фуражках

и бескозырках с белыми чехлами. Они напоминали грибы-поганки и зловеще светились в зелёных сумерках.

В один прекрасный день вся эта идиллия рухнула, нас сняли с кораблей, посадили в грузовики, крытые брезентом, и повезли в тундру, где готовились учения по ликвидации последствий ядерного нападения противника.

В тундре, прямо среди мхов, лишайников и кривых рахитичных берёзок был разбит палаточный городок отдельного медицинского отряда специального назначения. Километрах в трёх располагалась стационарная база отряда – мрачное сооружение, смахивающее на гауптвахту. Вот и весь пейзаж. В палатке было сыро, холодно, печи дымили, под раскладушками скакали лемминги. Моим соседом по койке оказался врач-подводник капитан медслужбы Валентин Орешкин, мы познакомились ещё в академии. У Орешкина была открытая душа русского человека и внешность остзейского барона: рыж, кудряв, голубоглаз, со скошенным – следствие аристократической деградации – подбородком. Он превосходно играл на гитаре и пел песни собственного сочинения. Барды тогда ещё только входили в моду: Клячкин, Окуджава, Анчаров.

Офицеры в местном сельпо купили в складчину мотоцикл, и Валентин чуть ли не каждый вечер мотался в Кильдинстрой за водкой. А учения всё не начинались. Мы изывали от скуки, резались в “козла” и ходили на ручьи ловить пугливую форель. Наконец, дождь перестал, грянула жара, тундра в одночасье расцвела, и на нас обрушилось новое бедствие – гнус. Репелленты не помогали, все ходили с опухшими рожами, а солнце, озверев, палило днём и ночью. В палатки заглядывал красавец капитан Чигиринский и задавал всем один и тот же вопрос:

– Господа, как насчёт баб-с?

В него швыряли ботинками.

Женщины в отряде были представлены тремя посудомойками и поварихой – все дамы суровой внешности и весьма преклонного возраста. Добиться их расположения было непросто. Я был свидетелем того, как Орешкин битый час пел под окном палатки, где жили прелестницы, неаполитанскую серенаду, причём, как он утверждал, на итальянском языке. Номер не удался.

Удивительные виражи иногда заламывает судьба! Именно в доме Орешкина в Архангельске в 1963 году я познакомился с писателем Юрием Казаковым. Дом, что стоял на улице Свободы, напоминал выброшенную на берег барку с дровами – Северная Двина лежала метрах в ста. В нём были скрипучие ступени, косые полы и сортир, напоминающий аэродинамическую трубу. В очко так дуло, что приходилось держаться за стены. В доме перебивали все заезжие знаменитости. Как-то явился Евтушенко. Местный поэт подарил ему свой сборник с подобострастной надписью. Евгений Александрович оставил сборник в холщовой сумке, укреплённой на двери сортира. Обитатели коммуналки пользовались сборником в качестве туалетной бумаги. Валентин Орешкин сделал хорошую карьеру, стал заместителем начальника военной кафедры медицинского института, защитился, потом, как нередко случается у нас, русских, спился и погиб от рук подростков-хулиганов.

Ночь перемешалась с днём, день с ночью, в семнадцать часов трудно было сказать: утро или вечер. Вот в такое безвременье нас и подняли по тревоге. Предстояло снять палатки, погрузить имущество на машины и выдвинуться к границе “ядерного очага”.

Навалились посредники, хронометристы, политработники – они вертелись под ногами, мешая работать. Распространился слух, что в качестве имитации ядерного взрыва будет использован тротильный заряд, эквивалентный атомной бомбе в одну мегатонну. В нормативы мы уложились, отряд был готов к приёму раненых. Ждали генерала Цыпичева. За полчаса до его приезда внезапно вспыхнула палатка рядом с аптекой – куб там, что ли, стоял перегонный или истопник со своей задачей не справился, не помню. За несколько секунд палатка утекла серым дымком, и небо, словно в ответ, разверзлось, и хлынул библейский дождь. По законам классической драматургии в этот момент из-за сопки и вынырнул генеральский “уазик”. Автомобиль лихо притормозил у КПП, из него с трудом выбрался Цыпичев и, отмахнувшись от бледного, как стерильный бинт, начальника отряда, медленно, вперевалку, как слон, направился к месту пожарища, капли дождя стекали по его обвисшим щекам. Он остановился, сдвинул фуражку на затылок и громко сказал:

– Так-то, едри вашу мать! Пожар в бардаке во время потопа! Командир отряда, что тянешь? Натягивай новую палатку и кончай с дождём, будем считать, что палатка погибла во время ядерного взрыва, мне с хлопцами поговорить треба.

– Будет сделано, товарищ генерал, – откликнулся командир отряда, словно погода была в его личном распоряжении.

Случилось чудо: дождь мгновенно перестал, и, хотя никакой команды не последовало, изо всех палаток к генералу стали сбегаться офицеры. Первым подбежал кривоногий капитан. Выпучив глаза, он заговорил, отдуваясь:

– Иван Тимофеевич, пять лет на лодке в Гремихе. Пропаду ведь...

– Пить бросил, Карнаухов?

– Год в завязке. Вы же знаете.

– Добро. Осенью пойдёшь на академические курсы, после них возьму терапевтом в поликлинику.

– Спасибо, Иван Тимофеевич.

– Следующий!

Я потрясённо наблюдал за сценой. Здесь, под открытым небом, в полевых условиях, перед самыми учениями вёлся приём посетителей по личным вопросам. Жильё, продвижение по службе, устройство жён на работу, детей – в детский сад – всё решалось тут же. Генерал знал каждого просителя в лицо и ничего не записывал.

– Неужели он что-нибудь запомнит? – с сомнением спросил я у Орешкина.

– Запомнит. Если Иван Тимофеевич пообещал, – железно. Случая не было, чтобы он не выполнил обещания.

Генерал озабоченно глянул на часы, поднял руку и зычно крикнул:

– Всё, хлопцы! Закончим после учений. По палаткам, минут через десять жажнет.

Через десять минут и в самом деле жажнуло – тундра вздрогнула от могучего взрыва, слева над сопками вспух коричневый зловещий гриб, от него прямо к солнцу потянулись дрожащие огненные руки, небо померкло, и положи палаток затрепетали от ветра, а может, накатила ударная волна.

Последний раз генерала Цыпичева я видел осенью шестьдесят первого года в Ленинграде. Он грузно шагал по мосту через Введенский канал. На Загородном проспекте звенели трамваи. Тополя роняли жёлтые листья в тёмную воду канала. Генерал был в белой фуражке, значит, стоял сентябрь, и гарнизон ещё не перешёл на осеннюю форму одежды.

Ивана Тимофеевича давно нет в живых, да и Введенский канал засыпала. Осталась набережная и те самые тополя.

Вниз по Волге

Летом 2003 года без конца падали самолёты, водный поток под Новороссийском смахнул несколько селений и, вырвавшись на простор Широкой балки, смыл в море десятки людей и автомобилей. Дожди залили Австрию, Германию, Чехию, реки вышли из берегов, заставляя европейцев шлепать по пояс в воде. А в Москве стояла адова жара, столица лежала в жёлтой дымке, задыхаясь от смога, – горели леса под Шатурой, в Тверской губернии, под Рязанью и Владимиром.

На раскалённом небе вот-вот должны были появиться знаки, уведомляющие о прибытии на Землю Антихриста. Американские астрономы, с ужасом разглядывая звёздное небо, обнаружили метеорит диаметром в 22 километра, устремляющийся к Земле.

В воздухе пахло серой и Апокалипсисом.

Мы с женой сели в Северном порту на рейсовый теплоход “Капитан Рачков” и отправились вниз по Волге в надежде, что великая русская река защитит нас от всяких напастей. От причала отходили в дождь – первый дождь за лето. Каюта оказалась крохотной, грязноватой, с двухъярусными койками, общим туалетом, но всё это были мелочи по сравнению с запахом речной воды и небесным простором, зависшим над каналом Москва–Волга.

Я родом из Нижнего Новгорода, и мои предки по отцовской линии – волжане, оттого, должно быть, всегда тянуло меня к воде, определив тем самым судьбу: я стал военно-морским врачом, обошёл полсвета, побывал на Белом

и Чёрном, Красном, Южно-Китайском и Японском морях, на Индийском и Тихом океанах. Да и потом, ближе к отставке, увлёкся водно-моторным спортом, глссировал на катере по переменчивому Ивановскому водохранилищу, поднимался вверх по Волге, к Твери, ночевал в заводах под шелест камышей и крики ночных птиц, отогревался у костров среди таких же бродяг и браконьеров.

Путешествие на теплоходе до Чебоксар и обратно не вернуло душевного равновесия, ибо глаза выделяли не роскошные виллы нуворишей, грибами-поганками выросшие в природоохранной зоне Подмосковья, а серые избы на берегу, брошенные после ельцинской разрухи 90-х годов города и посёлки, старух в ветхих платочках, просящих на дебаркадерах милостыню, пьяных подростков с озлобленными волчьими глазами.

Среди всеобщего запустения мелькнул чудо-городок Космодемьянск, чистенький, праздничный, где предприимчивые люди создали для туристов музей Остапа Бендера, утверждая, что городок сей и есть те самые, описанные Ильфом и Петровым знаменитые Васюки. В Космодемьянске сохранился и прекрасный музей художника Александра Григорьева с полотнами Айвазовского, Коровина, Машкова, Юона, Кончаловского. А перекусить можно было в харчевне “На дне”, где окрошка стоила семь рублей, а котлета – двенадцать. Сейчас только на дне такие цены и найдёшь.

Блеснул в серой дымке и погас чудо-городок, где удивительным образом сохранился дух русского предпринимательства, и потянулись вновь вдоль берегов серые останки былой России. Одно утешало: на храмах кое-где возводились строительные леса и глядели на восток восстановленные кресты.

Смотрел я на густо-синюю воду и припоминал, что с великой реки началось моё сознательное ощущение Родины. С той поры минуло сорок с лишком лет, когда перегоняли мы по внутренним судоходным путям нашу подводную лодку “С-64”.

Из Сормово нас, помнится, вытолкнули спешно, – Волга едва очистилась ото льда. Шлюзы Мариинской системы ремонтировались, и двум подводным лодкам 665 проекта предстояло тянуться по большой воде окружным путём: Шексна, Кубенское озеро, Сухона, Северная Двина. Лодки вогнали в транспортные доки, на кормовой части, сразу за рубкой, наварили площадку для камбуза, установили газовые плиты, несколько столов, забили провизионки и даже аккумуляторную яму заполнили продовольствием, запаслись сухарями. И всё это в обстановке абсолютной секретности. Доки затянуты брезентом, никакой переписки, никакой связи с берегом. Форма одежды – телогрейки, ватные штаны, сапоги, на головах – водолазные фески. Без погон, звёздочек и иных опознавательных знаков. Не подводники – урки из “зоны”. Лодки плохо освещены, не отапливались, а под утро ударяли морозы, в Кубенском озере мы едва не застряли: бушевала метель. Экипажи на “эшелонах” – так именовались наши лодки в официальных документах – пёстрые: доковая команда, заводская сдаточная команда, личный состав субмарин, какие-то ещё представители. На “шестьдесят четвертой” как-то сразу же заладилось. Меня сорвали с севастопольских курсов офицерского состава, где я проходил подготовку по хирургии, не дали доучиться, кинули в Горький, где на заводе в Сормово модернизировалась лодка. Горький – моя малая родина, там я родился, там жил дядька, брат отца, есть где остановиться, – чего, казалось бы, ещё нужно? Но обстановка в бригаде строящихся кораблей в Сормово была настолько мрачная, что мы считали дни, оставшиеся до перехода. Кормили скверно, в казармах было холодно, экипаж пополняли наспех – всего несколько знакомых офицеров, новый командир – капитан второго ранга Яскевич, сразу же получивший прозвище “Мрачный Курт”, – худой, высокий, с чёрными, немигающими глазами моллюска. Говорил Яскевич настолько редко, что можно было предположить, что он плохо владеет речью. Утро начиналось с того, что старпом Володя Авилов заходил в офицерскую выгородку в казарме и сиплым с похмелья голосом спрашивал: “Ну что, мужики, по рваному?” Это означало, что нужно было бросить в его засаленную шапку по рублю. Затем через рассыльного вызывался “шиловоз” – аккуратный чистенький старшина, ему вручались деньги и чемоданчик для напитков. Пили по бедности в основном “перцовку” или, как настойку называл старпом, – “перцовый сок”. Пригубить надлежало всем, те, кто отказывался, попадал под подозрение: стукач. Март стоял какой-то серый, морозный, до центра приходилось

добираться в битком набитом работагами автобусе. После Севастополя, где уже зацвел миндаль и Корабельная сторона, казалось, плыла в розовом облаке, всё это выглядело диким.

Не радовала и сама лодка, многие офицеры сомневались в надёжности корабля. Весельчак-штурман называл “шестьдесят четвертую” не иначе, как корабль “Миру – мир!” Или “Субмарина одноразового действия”. В том смысле, что выстрелит разок ракетами и утонет. Наш механик Юра Якимовский, оглядев лодку, с усмешкой заметил: “Великий Остап Бендер по этому грустному поводу непременно бы сказал: “Вот что можно сделать из швейной машинки “Зингер” и ворот дома номер пять”. И действительно, вид “шестьдесят четвертая” имела нелепый. В подводную лодку 613 проекта врезали восьмой отсек для управления ракетной стрельбой, сбоку, по бортам навесили четыре контейнера для крылатых ракет. При этом выяснилось, что четырём офицерам негде спать. Тогда горе-конструкторы прилепили между контейнерами стальное яйцо, куда вёл трап из второго отсека. Штука вроде батискафа с четырьмя койками по круглым бортам. В этом чёртовом яйце я и минёр Валера Гаврилов и спали все тридцать восемь суток перехода, спали не раздеваясь, в шапках и сапогах.

На настроение экипажа определённый отпечаток наложила и недавняя гибель подводной лодки “С-80” на Северном флоте. Лодка схожего проекта, только у неё было всего два контейнера, по одному с каждого борта. Забегая вперёд, скажу, что судьба большинства офицеров нашей субмарины не сложилась, только мой друг Валерий Гаврилов сделал карьеру, командовал атомной подводной лодкой, долгое время был начальником штаба дивизии, руководил отделом в штабе Северного флота, но адмиральских “мух” на погоны всё же не получил.

Переход начался с грандиозного сабантуя. Сдаточная сормовская команда, укрывшись в отсеках едва освещённой лодки, гудела несколько суток, не поднимаясь вверх. Кое-что перепало нашим матросам и доковой команде. Я отвечал за продовольственное обеспечение перехода. Уже в первую ночь на закуску пошла бочка квашеной капусты. Старпом посоветовал мне сделать в вахтенном журнале запись: “При крене двадцать пять градусов бочка с капустой сорвалась с креплений и разбилась о стапель-палубу”. “Иначе не рассчитаешься потом”, – заключил он. За время перехода я этот приём использовал несколько раз. Так что “кренило” нас сильно... Дня через три кто-то взломал аптечку и похитил бутылку со спиртом, в котором я предусмотрительно растворил зелёнку и сильно действующее слабительное. О чем гласила предупреждающая надпись на бутылке. Не помогло. Зато по нервной очереди у кормового галюна нетрудно было определить злоумышленников.

Потом всё понемногу улеглось. Сдаточники, уничтожив запасы спиртного, выбирались на батопорт чёрные, с трясущимися руками, заискивающе заглядывали мне в глаза. Медицинский спирт, необходимый для инъекций, я носил с собой, даже спал с флягой за пазухой. Другую бутылку тайно от старпома зарыл в трюме в картошку: близилась майские праздники. И их нужно было хоть как-то отметить.

Много лет прошло с той поры, а я до сих пор помню, как мы отпраздновали Первое мая. Я бросил на стол все резервы, коки на нашем камбузе испечились испечь пироги, но среди команды и, особенно в офицерской кают-компании царило нынче. Все знали, что выпито всё, что можно выпить, включая одеколон и эликсир для полоскания зубов. И никто, кроме меня и моего помощника старшины Грачёва (должность у него называлась так: инструктор-химик-санитар-подводник), не знал о зарытой в картошке литровой бутылки с ректификатом. Трюм, где хранилась картошка, находился в доке, и драгоценный напиток предстояло доставить в кают-компанию в лодке через открытое и опасное пространство. Мрачный Курт уже с утра утвердился на мостике, а нюх на спиртное у него был необыкновенно развит. Пришлось применить военную хитрость. Я вылил спирт в трехлитровый графин, разбавил его холодным чаем, бросил для убедительности несколько горошин поливитаминов и велел Грачёву нести напиток открыто, под видом витаминизированного настоя, а сам затаился на последней ступеньке трапа. Слышимость была отличная.

– Эй, Грачёв, что это ты несёшь? – спросил Мрачный Курт.

– Витаминизированный настой, товарищ командир. Доктор для кают-компании приготовил. Велел спросить: вам сделать?

– Пошёл ты вместе с доктором к такой-то матери. . .

Когда я спустился в кают-компанию, офицеры мрачно разглядывали графин. Механик спросил:

– Витамин “С”?

– Антистоин, – пояснил я. – Мне уже надоело говорить о пользе полового воздержания. Зубову, видите ли, снятся эротические сны. А тут принял стаканчик, и снятся исключительно партийные собрания.

– Морду бы тебе набить, – мечтательно сказал старпом. И тут во второй отсек просунулся минер Гаврилов. Он только что сменился в вахты, озяб, потёр руки, стянул с коротко остриженной головы феску:

– С праздничком солидарности мужчин и женщин, товарищи офицеры. Прошу разрешения к столу.

– Садись, остряк-самоучка, – хмуро бросил старпом.

Гаврилов взял графин налил себе полный стакан, посмотрел содержимое на свет:

– Витаминчики? Уважаю. Зубы от цинги прямо в тарелку выпадать не будут.

Глотнул, испуганно покосился на старпома, торопливо допил содержимое стакана и тотчас налил снова:

– Ух, хорошо, с кислицей. Доктор, ты готовил? Молоток!

После второго стакана его мгновенно развезло. Авилов схватил графин, понюхал горлышко и скомандовал:

– Штурман, постой на “атасе”, а то Курт явится, тогда нам ни капли не достанется. А тебя, Гаврилов, я теперь на вахтах сгною! Два стакана упорол, скотина!

А время шло, буксиры медленно тащили за собой транспортные доки. Что происходило в тёмных шхерах подводной лодки, никто не знал, народ в основном отсыпался. Свободные от вахт офицеры тайком резались в преферанс. Замполит захватил с собой только два фильма: “Карнавальная ночь” и “Дом, в котором мы живём”. Популярностью пользовалась “Карнавальная ночь”. Прекрасный фильм, поставленный, помнится, по сценарию ныне забытого писателя и барда Михаила Анчарова. “Дом, в котором мы живём” посмотрели только раз и оставили – не под настроение. А по левому и правому бортам распаивалась неоглядная Россия, старинные города, тихие с кое-где ещё сохранившимся ледяным припаем плёсы. Как-то утренней ранью на опушке леса видел двух лосей, тяжёлые гуси проносились над головой, едва не задевая крыльями леера. Первым эшелонам, впереди нас шла в транспортном доке подводная лодка “С-61”, командиром на ней был общий любимец капитан второго ранга Николай Петрович Котихин, а доктором – мой однокурсник Петя Терехов. Нашлись там охотники шмалять из автоматов по гусям. По эшелонам был издан строгий приказ, запрещающий это легкомысленное и опасное занятие.

В свободное время мы с Валеркой Гавриловым валялись на койках в своём металлическом яйце, читали, Валерка делал зарисовки в альбоме. Альбом с его рисунками и по сей день хранится в моём архиве. За всё время перехода Мрачный Курт ни разу не спустился в кают-компанию офицерского состава. Жил и столовался он на плавдоке. По приходу в Северодвинск я из его каюты выгрузил ровно тридцать восемь пустых бутылок из-под водки – по числу дней перехода.

Рыбинское водохранилище, Шексна, Сухона, Северная Двина и лагеря, лагеря: колючка заграждений, зеки в серых робах, сторожевые вышки, густой лай собак и голубое небо, перечерченное дымом буксиров, тянущих доки. Кажется, именно тогда, белыми ночами, я впервые задумался над тем, что происходило в стране ещё совсем недавно и во что не верилось, не хотелось верить.

Северодвинск поплавком вынырнул на поверхность белесой воды. Мы шли каналом, судоходный ход был помечен буйами и вешками, они вяло раскачивались, словно кланяясь нам, воздух был одного цвета с водой, и это рождало странный эффект: казалась, и буксир, и транспортный плавдок медленно волокутся по небу, оставляя за собой зыбкий волнистый след. Второй “эшелон”, шедший за нами, едва просматривался в тумане.

– Слева тридцать, створный знак! – доложил вахтенный офицер.

Я взял у него бинокль. Жёлтая волна лизнула окуляр, откатилась, и вдали, над свинцовой гладью проступило рубленое деревянное сооружение в форме трапеции. Чуть ниже обозначились кровли домов. И этот створный знак, и штилевое море, и вынырнувшая вскоре белая фишка маяка у рейдового поста, и канал — всё это механически отметит моя память, чтобы потом, много лет спустя, ожить в моих рассказах, повестях и романах.

Какое-то время я даже буду жить в доме рядом со створным знаком — город стремительно расползлся по берегу, и в лоции вскоре появится предупреждение: “Створные знаки Северодвинского входного створа проектируются на фоне портовых сооружений, особенно передний, что затрудняет пользование ими. Не имея сведений о наименьшей глубине, входить в порт на судах с большой осадкой не следует”.

Между тем, Северодвинск медленно всплывал из воды, издали он походил на обломки кораблекрушений, рассыпанных по зыбкой поверхности, и я испытал смутную тревогу, словно предчувствуя, что этот северный городок станет городом моей судьбы. Так, в сущности, и вышло...

Поворот судьбы

Вспоминая то давно ушедшее время, я не могу не отметить одного странного обстоятельства: я жил как бы в двух пространствах, не связанных между собой. Одно пространство, где я учился на факультете усовершенствования врачей, слушал лекции известных профессоров, спорил на семинарах и участвовал в дружеских пирушках однокашников, — там я был молодым, энергичным, уверенным в себе майором. Второе пространство существовало параллельно, как параллельный мир, — и в нём жил совсем другой человек, начинающий писатель, постоянно терзаемый сомнениями, испытывающий недовольство собой. И потребуется два десятилетия душевной работы, чтобы как-то объединить их.

Иногда я думаю, как сложилась бы моя служба, если бы меня оставили преподавателем в академии. Значит, вмешалась судьба. Сейчас некоторые философы говорят о законе детерминации на будущее, иными словами, жизнь каждого человека заведомо predetermined: как ни крутись, а то, что тебе предписано, выбито на матрице и непременно сбудется.

Одним ясным апрельским деньком на кафедре эпидемиологии позвонил помощник дежурного по академии и сказал, что слушателю такому-то нужно срочно прибыть на кафедру “Организации и тактики медицинской службы ВМФ и боевых средств флота”. Звонок не вызвал тревоги — моя дипломная работа проходила по двум кафедрам, и в последний месяц я работал у организаторов. Но, оказавшись в широченном коридоре, где, как и в прежние годы, пахло старинным деревом, оружейной смазкой и табаком “Золотое руно”, я всё же испытал неясное беспокойство. Пошёл разыскивать дежурного по кафедре, и тот, глянув на меня с любопытством, сказал, что со мной хочет побеседовать сам Патриарх.

— Кто?

Дежурный усмехнулся:

— Неужели не знаешь? Патриарх — начальник медицинской службы Военно-Морского Флота всяя Руси генерал Иванов Евгений Михайлович.

— На кой я ему?

— Вот уж не знаю. Гордись.

Иванова я никогда не видел, хотя, конечно же, слышал о нём — в Северодвинск докатывались слухи о всесильном московском генерале. Патриарх был жителем Олимпа, иных сфер, поэтому я воспринимал его, скорее, как портрет в книге, нежели как реальную личность.

— А где генерал?

— В кабинете начальника кафедры. Ждёт.

— Чудеса.

Ещё больше я удивился, увидев Иванова. По просторному кабинету прохаживался краснолицый, огромного роста генерал. Ему перемахнуло за шестьдесят, но такой силой, такой крепостью веяло от его крутых плеч, загорелых лопатистых рук, что я невольно попятился. Размер генеральских штиблет был не иначе как сорок пятый. Дубовый паркет постанывал под его шагами.

Иванов хмуро глянул на меня и как-то по-домашнему тихо спросил:

– Ты чё припозднился? Не оповестили вовремя?

Я растерялся:

– Простите, товарищ генерал, после звонка помощника дежурного по академии я тотчас выехал. Кафедру эпидемиологии перевели в теоретический корпус, к Финляндскому вокзалу.

– Ладно, садись, у меня к тебе разговор есть.

Я сел.

Генерал прошёлся по комнате, остро глянул на меня и спросил:

– Конфликтовал, значить, с бывшим командиром, ругалси?

– С каким командиром?

– С Козловым Ёсифом Григорьевичем, – Иванов хитро прищурился.

Я почувствовал, как от изумления у меня выкатываются глаза. Я с трудом взял себя в руки и спокойно, с достоинством ответил, чувствуя какой-то подвох:

– Иосифа Григорьевича я искренне уважаю и считаю своим учителем. Никаких конфликтов у меня с ним не было. Спорить – спорили. Было. А ругаться – нет. С Козловым особенно не поругаешься.

Я неожиданно для себя улыбнулся, припоминая многоярусную брань Козлова.

– Эт да, – Иванов тоже улыбнулся. – Козлов – тот может. А ты, значить, упрямый, споришь с начальством-то?

Я пожал плечами. Ничего я не мог понять, сбивал с толку простонародный говор генерала. Такое впечатление, что говорит он так нарочно, играет.

– Я те, значить, для чего позвал? – генерал посерьёзнул. – Учебу заканчиваешь... На кафедре о тебе хорошо говорят. По двум линиям, значить, диплом защищать собралси. Хорошо. И опыт у тебя штабной работы есть. А у меня должностёнка проклюнулась, полковничья, при хорошем окладе. Вот и решил я на тебя посмотреть.

У меня упало сердце. Я сжился с мыслью, что буду преподавать на кафедре, и предложение ошеломило меня. Мне вовсе не хотелось становиться чиновником. Признание чуть не сорвалось с уст, но другой, внутренний, осторожный голос – голос рефери в ринге – сказал мне: “Стоп!”

– Не знаю, что и сказать, товарищ генерал. Справлюсь ли?

– Эт ты верно. Там у нас у-ю-юй! Сразу, что к чему, не поймёшь. Уровень-то какой, чуешь? Идёт мужичонка, порточки на ём висят. А пригляделся – министр. Во! Ладно, только поймей в виду, официально я тебе ничего не предлагаю. Будем посмотреть. Ну, ступай. Должно, я на обед из-за тебя опоздал. Ступай, Юрий Николаевич, – Иванов отвернулся.

В коридоре я облегчённо вздохнул. Раз генерал ничего официально не предложил, значит, и беспокоиться нечего. А фигура! Действительно Патриарх. Но откуда он узнал о моём существовании? Значит, Козлов. Но он откуда знает Патриарха? Ладно, обойдётся.

Академик Виталий Дмитриевич Беляков, когда я передал ему содержание беседы с Ивановым, совсем иначе оценил ситуацию.

– Нет, дорогой мой, Евгений Михайлович ничего зря не делает. Сановник с серьёзной властью и связями. С начальником академии на “ты”. Если он захочет вас взять к себе в аппарат, я ничего не смогу поделать. И вам отказываться не советую. Иванов сразу прихлопнет, как муху. С ним не поспоришь. Надежда одна – у него появится более достойный кандидат. Откуда, кстати, Иванов вас знает?

– Понятия не имею. Разве что Козлов ему говорил?

– Козлов? Кто это?

– Мой бывший командир санэпидотряда. Козлов Иосиф Григорьевич.

– Постойте, постойте... Вспомнил. Он лет восемь назад факультет усовершенствования закончил. В отпусках обязательно на кафедру заходит. Козлов балтиец?

– Да.

– Тогда всё верно. Он во время войны вместе с Ивановым на Балтике служил. Благодарите его. Жаль, из вас получился бы неплохой педагог.

В Москве стояла небывалая жара, в Подмосковье горели леса, у Шатуры тлели торфяники, белёсый дым куполом возвышался над столицей, было

трудно дышать – я это почувствовал ещё на Ленинградском вокзале, когда выходил из поезда.

Я не хотел ехать в столицу, в Ленинграде оставались друзья, коллеги по объединению молодых писателей при журнале “Звезда”, оставался любимый город. Беспокоило ещё одно обстоятельство: у меня были трёхлетний опыт управленческой, штабной работы, неплохая подготовка, и всё же это не уровень центрального аппарата главкома. И как всё сложится? Вскоре мои опасения подтвердились.

Потребовалось время, чтобы я понял: в обрядовой, культовой части службы в центре заложен глубокий смысл. Ритуалы были чётко прописаны и отрепетированы. Понедельник – день марксистско-ленинской подготовки, четверг – самоподготовка, занятия по специальности, партийные собрания – раз в месяц. Весьма существен обряд взятия социалистических обязательств – действие абсолютно нелепое в условиях управления. Но ритуал есть ритуал.

Всё надлежало исполнять с самым серьёзным видом, соблюдая неписанные правила игры. На партийные собрания следовало являться в тужурке и белой рубашке, и секретарь партбюро составлял нечто вроде партитуры: кому и что говорить и на чём сделать акцент.

“Братцы! – иногда хотелось крикнуть мне. – Да это же маразм!” – Но я понимал, что коллеги меня не одобряют, а кто-нибудь недоуменно, с холодной усмешкой заметит: “Юрий Николаевич, ты же неглупый человек. Что непонятно?”

Я, надо полагать, обладал достаточной пластичностью, потому что через полгода не только принял, но и одобрил театр Иванова, где за кулисами делалось настоящее, важное дело. Страна уже вступила в период, который потом назовут “застоем”.

Разнолик и интересен был актёрский состав – Евгений Михайлович отбирал людей тщательно, не спеша. Дураков, ясно, среди них не было, проходили только специалисты высокой категории, обладающие к тому же управленческим даром. Был и свой стиль: безукоризненность в одежде, сдержанный тон – говоришь ли ты по телефону или с посетителем, изысканная, чуть-чуть издевательская, как мне казалось, вежливость, строгое обращение друг к другу по имени и отчеству и раскованный трёп в “аппендиксе” – закутке в конце коридора, где собирались только свои. Уж там позволялось многое. Иногда даже разыгрывалось что-то вроде одноактного пьеса. Тон задавал начальник санаторно-курортного отдела полковник Рубен Леонович Еганян. До того как поступить в Военно-медицинскую академию, он год проучился в театральной студии. Его анекдоты, репризы, исполненные с неизменным блеском, всегда имели успех.

Всё это отчасти напоминало мне “Театральный роман” Булгакова, с мизансценами, героями второго и третьего плана, которые нередко обладали куда большим влиянием, чем главные специалисты, и от их настроения зависели все мы. Например, капризные секретчица Нина Николаевна и машинистка Наталья. Но самой яркой фигурой в этой своеобразной театральной труппе был, конечно же, сам режиссёр с грубым крестьянским лицом и манерами шкипера с волжской баржи.

Многие поколения тверских землепашцев накапливали в своём генофонде несокрушимое здоровье, редкую работоспособность, здравый смысл, смекалку, хитрость, а главное – пророческую мудрость. Первое время меня удивляло, как этот краснолицый несуразный человек, говорящий на каком-то нарочито простонародном языке, руководит флотской медициной. Маска? Но как-то уж слишком органично. Жадно, с болезненным любопытством приглядывался я к Иванову и вскоре понял: нет, это не игра. Генерал на самом деле так говорил, знал о своём недостатке и потому, готовясь к ответственному докладу, тщательно отработывал текст, выбрасывая труднопроизносимые слова, отделявая каждую строчку. Я вскоре вошёл в группу, готовящую доклады, поэтому знал всю кухню в деталях. Выезжал с Патриархом на совещания, сборы, симпозиумы, на которых нередко присутствовали учёные с мировым именем, и им нравились и грубоватые манеры Иванова, и его простота.

Генерал Иванов долгое время меня не замечал, похоже, неприязнь к главному эпидемиологу ВМФ Валерию Петровичу Харламову перекинулась

и на меня. А тут вспыхнул эпидемический очаг дизентерии на кораблях Средиземноморской эскадры, стоящих в Александрии. Информация докатилась до министра, Валерий Петрович срочно вылетел в очаг. Харламов – человек милый, но не имеющий опыта управленческой работы, да и на крупных эпидемических вспышках никогда не был. Он, скорее, учёный, ему бы заведовать лабораторией в НИИ, а не руководить оперативной работой на таком уровне. Сведения от Харламова поступали настолько противоречивые, что я ничего не мог понять, несколько раз выходил с ним на связь, но переговоры ситуацию не прояснили. Я так работать не привык: сегодня одни цифры, завтра – другие, даже предварительной версии нет, почему возникла вспышка. Что докладывать начальству? Какие готовить справки? На телеграммах из Александрии всё чаще появлялись грозные росчерки генерала, вроде: “Путаница, галиматья!” В конце концов, я плюнул и отправился в Оперативное управление ВМФ. Направленец по эскадре капитан первого ранга встретил меня приветливо, без лишних разговоров развернул морскую карту, показал, у каких причалов ошвартованы подводные лодки, где стоит плавбаза, где источники водоснабжения. Нашлась у него и справочка о заболеваемости моряков, подготовленная для доклада главкому и министру. Выглядела она убедительней, чем у Харламова. Я спросил:

– Вам приходилось бывать в Александрии?
– Три дня как оттуда.
– Мухи там есть?
– Ты себе представить не можешь, что там творится. Жара, контейнеры с мусором на причальной стенке, вонь, с водой перебои, а уж мух... Ничего подобного не видел. Местная сторона поставляет фрукты, в основном апельсины...

– Их обеззараживают?
– Ты даёшь! В чём? Как? Там ваш медик работает, толку от него – ноль. Только суетится. Я информацию получаю от командира бригады лодок. Нужно, дорогой мой, в одну дуду дудеть, а то главкома запутаем. Это уж потом вы, учёные, разбирайтесь, выстраивайте гипотезы. Сейчас не до науки. Престиж флота – не шуточки. Ликвидируем эпидемию, тогда сочинишь приказ главкома с раздачей слонов.

– Согласен. Каждое утро я у вас, сверяем информацию. Необходимо срочно подготовить телеграмму начальника Главного штаба ВМФ с указанием, что делать. Сегодня же.

- Так готовь. У тебя пропуск в нашу управу есть?
- Заказывать приходится. Мутота, потеря времени.
- Сегодня оформим. Телефон мой запиши. Звать тебя как?
- Юрий Николаевич.
- Добро, жду.

Вернувшись в свою контору в Комсомольском переулке, я зарегистрировал у секретчицы морскую карту, нанёс на неё фломастерами всё, что успел украдкой срисовать в записную книжку офицера с карты направленца, разрисовал графиками, сочинил пояснительную записку. Ситуация стала понятней. Проклятый мушиный фактор – вечная тема для раздора среди эпидемиологов. На столе в кабинете у моего учителя академика Виталия Дмитриевича Белякова стоял сувенир – искусно сделанная из металла огромная муха. Но тут уж, как говорится, против фактов не попрёшь, в Александрии мухи уж точно поработали, во всяком случае, как детонатор.

Я уже заканчивал отделять текст телеграммы начальника Главного штаба, как в коридоре послышался рык Иванова:

– Где эти эпидемиолухи, мать иху разэдак. Дежурный, уснул? Тащи сюда майора, как его...

Увидев меня, генерал побагровел и так хрястнул по столу кулаком, что на пол посыпались карандаши:

– Мне через час главкому по Александрии докладывать, а что я ему скажу? – Он потряс у меня перед носом пачкой телеграмм. – В этой галиматье ничего понять нельзя. Что скажешь, умник?

Со мной ещё никто так не разговаривал. Я взял себя в руки и как можно спокойней сказал:

- Разрешите доложить, товарищ генерал...

– Что доложить? Что?

Я развернул перед ним карту и коротко изложил свою версию. Генерал впервые за всё время посмотрел на меня с интересом. Краснота на его лице стала спадать.

– И где ты взял эту цидулю? – спросил он.

– Сам нарисовал. Товарный вид, правда, не очень, нужно бы чертёжникам отдать... Данные взял в Оперативном управлении.

– И тебя туда пустили?

– А почему нет? С направлением договорился, буду в восемь утра свезти с ним информацию.

– Глянь-ка, шустрый! Небось, и у главкома уже побывал?

– У главкома не был.

– А цифирь где взял?

– У оператора. Если главкому разные цифры давать, он нас не поймёт.

– Энто ты прав. У-ю-юй что будет.

– Нужно срочно дать телеграмму начальнику Главного штаба. Сегодня же. Текст я подготовил.

Иванов, шевеля губами, быстро пробежал текст, поднял трубку внутреннего телефона:

– Нинка, счас к тебе Юрий Николаевич подойдёт, сама отпечатай, с красотью, для главкома. Десять минут тебе. А ты иди, карту я у тебя забираю, – кивнул он мне.

– Так не положено, товарищ генерал, карта секретная. Распишитесь за неё в форме “семь”.

Иванов с изумлением посмотрел на меня:

– Ты што, мне не веришь?

– Верю, но приказ министра нарушать нельзя.

– Гляди-ка, а ты педант, вроде твоего предшественника генерала Славина. Тот вечно бумажонки свои пересчитывал по три раза на день. Давай, черкну. Каждое утро, как из Оперативного управления вернёшься, сразу ко мне. Запиши мой телефон на даче. Звони в любое время. Слышь, тут энто, легенда ходит, будто ты главкомовского повара Романа раком поставил. Верно?

– Никого я не ставил. Обычная проверка.

– Обычная, да не обычная. А знаешь, кто тебя отстоял? Сам главком и отстоял. Мне его адъютант рассказал, когда Рома рыпнулся, жалобу на тебя написал, главком его и осадил: “Нашёлся хоть один майор, который научил тебя руки мыть”.

Я думаю, что в этот момент и была решена моя судьба.

Евгений Михайлович ничего, кроме резолюций, не писал. Кто-то пустил слух, что он путает алфавит, – в “аппендиксе” по этому поводу был разыгран не один скетч. Зато уж читал документы и правил текст Иванов мастерски. В свои шестьдесят лет он обладал фантастической памятью и обходился без записной книжки. Резолюции, лаконичные и на первый взгляд простые, нередко имели скрытый смысл.

– Ты, должно, писульку-то мою читал? Э-э? – вопрошал у меня Евгений Михайлович.

– Читал, конечно.

– Конешно... Ишшо почитай. С умом. А то в твоём документе, что ты подготовил, конь не валялся, едри его мать совсем.

Я, вспыхнув, перечитывал “писульку” и к своему стыду убеждался: Иванов прав.

Евгений Михайлович считал, что его аппарат должен уметь всё: подготовить разумное решение, написать доклад на любом уровне, книгу, отзыв на докторскую диссертацию. Причём быстро, без суеты и с блеском.

Учёным он не доверял.

– Энти академики накрутят, накрутят, едри иху мать совсем. У них идеи брать нужно. Писанины – пуд, а идея-то одна, худая. Её и бери.

Он обладал удивительным, каким-то животным чутьём. Мог вызвать к себе и сказать:

– Ты вот что, поезжай-ка на Балтийский флот, тряхни, как следоват.

Я ехал, “тряс”, а вслед за мной спецрейсом мчалась комиссия Тыла Министерства обороны, и выходило, что Патриарх предугадал, опередил события,

и неожиданный рейд тыловиков давал осечку – флотская медицина оказывалась готовой к проверке.

Персонаж Салтыкова-Щедрина, или Как я стал бездушным чиновником

Инспекция Северного флота осенью 1974 года вошла в историю под названием “нашествие ста генералов”. Я в состав инспекции был включён в качестве представителя центра, и мне предстояло сыграть своеобразную роль, что-то вроде смягчающего буфера.

Служил я в Москве недавно, был не искущён в тонких штабных играх и совсем потерялся в толпе генералов, когда мы рассаживались по автобусам на Фрунзенской набережной. При таком количестве начальников мне, по-видимому, предстояло следовать к месту назначения не иначе как стоя, приложив руку к головному убору.

Я был прикомандирован к тыловой группе, которой руководил генерал-лейтенант Власенко (фамилия изменена). Генерал был мал ростом, по-кавалерийски кривоног, его тёмное, будто сваренное из железа лицо ничего не выражало. Когда я услышал металлический, скрипучий голос Власенко, то понял, кого он мне напоминает, – Органчика, плод гениальной фантазии Салтыкова-Щедрина. Сходство было такое, что я бы, наверное, не удивился, если бы генерал тут же при мне отвинтил голову и положил её на письменный стол рядом со стопкой бумаги.

Первая встреча произвела отталкивающее впечатление. Власенко с минуты разглядывал меня, при этом в груди у него что-то шипело, словно вращалась заигранная пластинка, потом, отшвырнув стул, он пробежался по кабинету и, вперив в меня глаза-дырки, грозно рявкнул:

– Я тебе не верю! Ты послан защищать интересы флотской медицины, сглаживать, скрывать недостатки. Так вот, для объективизации к тебе будут приставлены два контрагента из Военно-медицинской академии: доцент и профессор. Сидят в соседнем кабинете. Иди, знакомься.

И генерал с сухим щелчком развернул голову на сто восемьдесят градусов, давая тем самым понять, что аудиенция закончена.

В соседнем кабинете и в самом деле в вольных позах сидели профессор полковник Портной и доцент подполковник Коноплин, оба в разное время были моими учителями: Михаил Владимирович Портной обучал меня хирургии, а Коноплин – искусству медицинской организации и тактики.

– Вот что, господа контрагенты, – хмуро начал я, – если вы будете контролировать каждый мой шаг и ставить под сомнение достоверность моих докладов, это не понравится руководству флота. Решайте!

Коноплин с удивлением посмотрел на меня:

– Ты что кипятишься? Мы, по-твоему, совсем дураки, или нам делать больше нечего?

А Михаил Владимирович мягко добавил:

– Зачем нам подставлять флот? Свои замечания мы сначала покажем вам, согласуем каждую фразу, а уж потом на стол этому...

– Органчику, – подсказал я.

– Почему Органчику?

– В повести Салтыкова-Щедрина “История одного города” есть такой персонаж – градоначальник по прозвищу Органчик.

Коноплин рассмеялся:

– А что, и правда похож.

Начался один из самых тяжёлых периодов в моей жизни.

Поскрипывание и астматическое посвистывание в груди Власенко объяснялось застарелым бронхитом курильщика, но мне всё время казалось, что вслед за змеиным шипеньем из его глотки вот-вот вырвется: “Не-е потерплю! Разор-ю-ю!”

Власенко было чуждо всё человеческое: он не читал, не слушал музыку, не пел, наверное, не ел и не спал. В любое время дня и ночи его можно было застать в кабинете, облачённым в мундир, застёгнутый на все пуговицы. При моём появлении в глубине его глаз-дырок вспыхивали розовые, похожие на свет индикаторных лампочек огоньки. И это усиливало сходство генерала-инспектора с искусственно созданным аппаратом.

После очередной проверки я представлял Власенко доклад, отпечатанный на мелованной бумаге, и с почтительным видом замирал в двух шагах от его стола. За всё время инспекции он ни разу не предложил мне сесть. В доклад я умышленно собирал все армейские канцеляризмы, накопленные военной бюрократией за минувшие столетия: “Полагал бы целесообразным”, “при наличии отсутствия”, “докладываю на ваше решение” и так далее. Генерал скрипел, свистел и, наливаясь праведным гневом, спрашивал у меня:

– Ты когда-нибудь в школе учился?

Я сконфуженно молчал. По отношению к Власенко у меня выработалась своеобразная тактика: я никогда ему не возражал, научился в зависимости от обстоятельств искусственно бледнеть или краснеть под его взглядом.

– Что молчишь? Учился или не учился?

– Так точно! Средняя мужская школа номер два, город Краснодар Краснодарского края.

– Плохо учился, – морщился генерал. – Читать противно.

Я сокрушённо вздыхал, давая понять, что он и на этот раз прав. Школу я закончил с серебряной медалью, мои сочинения на свободную тему считались лучшими в классе, а два года назад у меня вышла первая книга рассказов. Но начальству всегда виднее.

Власенко брезгливо, словно крысу за хвост, брал мой доклад и бросал на пол. Иногда мне удавалось поймать листки на лету. Я приспособился готовить доклады в нескольких вариантах, а когда все они были отвергнуты, приносил самый первый. Генерал окидывал его орлиным взором и заключал:

– Ну, это уже кое-что.

Когда я рассказывал об этом своим контрагентам, стараясь изображать происходящее в лицах, они катались от хохота.

– Вам смешно, – ворчал я, – а каково мне каждый день общаться с Органчиком?

– А вот нашими докладами генерал доволен, – ухмылялся Коноплин.

– Так вы же у меня всё списываете!

– Ну и что? Списывать тоже нужно уметь. В твоих докладах лирики не хватает, чувства. А генерал человек чувствительный.

Контрагенты вели сибаритский образ жизни, и я им ужасно завидовал.

Ударили морозы, после полудня наваливалась тьма, природа словно специально сменила декорации для разворачивающегося спектакля, придавая ему мрачную, я бы сказал, мистическую окраску. Да и происходящие события явно свидетельствовали о вмешательстве тёмных сил. Вот только один пример: группа инспекторов поднимается на борт крейсера, стоящего у стенки, внезапно трап под ними разваливается, и они падают на бетонный причал. Причём никто толком не мог назвать число пострадавших. Дальше – больше. Сталкивались автомобили, под инспекторами трещали койки и кресла, а одного полковника из Главного политуправления укусила свинья. Выскочила из подворотни, тыпнула за задницу и скрылась в неизвестном направлении. Все ходили подавленные, как в ожидании конца света. А в Мурманске в одном из тупиков стоял покрытый инеем спецпоезд, где угрюмо отсиживался дряхлеющий маршал. Именно оттуда и исходили неожиданные, порой фантастические вводные.

Химическая служба флота получила “двойку”, и было ясно, что начим флота скоро будет снят с должности. В этой ситуации и медицинская служба может отхватить “неуд”, а этого допустить было никак нельзя. Органчик совсем осатанел. Как-то вызвал меня к себе вечером и мрачно скрипнул:

– Утром я буду заслушивать медика флота по мобилизационным вопросам, но сначала всю схему развёртывания медицинских учреждений доложишь мне ты.

Специалисты поймут меня. До утра начальник Медицинской службы Северного флота генерал Антон Бадмаевич Занданов растолковывал мне эту самую схему. Антон Бадмаевич за ночь осунулся, но был по-прежнему спокоен и предельно сдержан. Власенко часа полтора топтал меня у развешенных карт, пытаясь выяснить такое, чего бы не знал Занданов. На этот раз роль полного идиота мне удалась вполне. В голове звенело, в кабинете стоял запах перегретого масла, которым, надо полагать, смазывали механизмы этого искусственного человека. Наконец, он вызвал Занданова. Ковыряя в зубах канцелярской скрепкой, Власенко с усмешкой спросил:

– Вы из татар?

Антон Бадмаевич посерел лицом, но ответил спокойно, с достоинством:

– Я – бурят. Позволю заметить, что предки мои участвовали в составлении бурятской письменности.

Власенко скрипнул пружиной, повертел механической головой и сказал:

– Это к делу не относится. Докладывайте.

Чем бы закончилось сражение генералов, трудно сказать, но тут объявили боевую тревогу, и нам пришлось спешно перемещаться в бункер. Запомнилось противоестественно жёлтое небо, зависшее над заполярным городом, – возможно, это был предвестник грядущей мировой катастрофы. Так и случилось. Через полчаса по объектам флота противник нанёс серию ядерных ударов. Последствия были ужасающими. Где-то там, наверху, за бетонными плитами перекрытия лежала обугленная тундра, в бухте вверх киями, как картофелины, плавали повреждённые корабли, и единственным звуком, нарушающим тишину мёртвой земли, был треск ополоумевших счётчиков Гейгера-Мюллера, да ещё в обломках посвистывал радиоактивный ветерок. И хотя всё это было лишь в воспалённом воображении военных стратегов, почему-то верилось в реальность происходящего.

После трёхдневного сидения в подземном бункере я настолько устал, что мне уже было всё равно, чем закончится этот спектакль. Наступил последний акт. В районе Щук-озера был развёрнут полевой военно-морской госпиталь. От степени его готовности зависела оценка медицинской службы в целом. Дороги на Щук-озеро я не знал, доверять водителю-матросу было рискованно, поэтому я попросил главного хирурга флота Владимира Даниловича Шевченко сопровождать нас с генералом. Выехали часов в десять утра. Природа Заполярья выбросила очередной фортель: небо очистилось от облаков, светило солнце, дорогу развезло, и “Волга” то и дело буксовала в колдобинах. Власенко сидел на переднем сиденье рядом с водителем. Первые полчаса генерал мрачно молчал. “Волга” миновала небольшой кирпичный заводик, где работы, смахивающие на зеков, вручную лепили кирпичи. Из закопченной трубы, торчащей из приземистого барака, к небу тянулся густой, как из крематория, дым. Генерал кашлянул, захрипел, – слышно было, как металлические пластинки позвякивают у него внутри, – и изрёк:

– Как изготовляли кирпичи при царе Горохе, так и сейчас... Самая, видать, древняя профессия.

Мне надоела игра в “поддавки”.

– Ошибаетесь, товарищ генерал, – сказал я, – есть куда более древняя профессия.

Власенко обернулся. На его лице запечатлелось такое удивление, словно заговорило сиденье автомобиля. Он снисходительно усмехнулся:

– Медицина, что ль?

– Нет, не медицина. – Я сделал паузу. – Проституция. Во всяком случае так считают.

Власенко умолк и, похоже, отключился от действительности. Я привычно ждал экзекуции. Но разнота не последовало. Каким-то другим, напоминающим человеческий голосом он задумчиво сказал:

– А что, ты, пожалуй, прав. И вот что интересно: с кирпичами никакого прогресса, а у шалав столько новинок. А-а? Новейшие технологии освоили. Анекдот слышали?

Анекдот, как ни странно, оказался вполне остроумный. Из знаменитой “одесской” серии. Я знал кучу самых разных анекдотов, моих запасов вполне могло хватить до Щук-озера, даже если бы мы застряли в дороге. Но, Боже мой, что мои жалкие возможности по сравнению с набором Владимира Даниловича Шевченко! Деликатный, невозмутимый человек, доктор наук обладал поистине артистическим даром. Это и спасло ситуацию.

Уже минут через десять салон автомобиля напоминал палату сумасшедшего дома. Власенко, взгрозившись на сиденье, задом к ветровому стеклу, дико хохотал, хлопал себя по бёдрам, “Волга” рыскала в жёлтом снежном крошеве, у матроса-водителя был такой испуганный вид, что, казалось, он вот-вот бросит руль и вприпрыжку унесётся в тундру. Меня, признаться, тоже смущал вид хохочущего генерала, но я смекнул, что и у этого железного человека есть слабое место и этим можно воспользоваться.

До Щук-озера мы доехали незаметно. Небо померкло, но ничто уже не могло изменить настроения Власенко. Госпиталь был развёрнут в снегу по всем правилам, даже с учётом розы ветров. Над печными трубами палаток курился дымок, душевой дезинфекционный автомобиль был окутан облаком пара. На утрамбованной площадке перед штабной палаткой генерала-инспектора ожидало руководство госпиталя. Когда "Волга" вырулила на площадку и остановилась, к ней, тяжело бухая ботинками, двинулся начальник госпиталя полковник Козлов. На лице его застыл такой ужас, словно с проверкой прибыл сам Змей Горыныч. Каково же было удивление Козлова, когда в распахнувшейся дверце показалось не лицо грозного начальника, а его зад, обтянутый залоснившимся зелёным крепом.

— Товарищ генерал!.. — начал было Козлов.

Власенко повернул к нему раскрасневшееся лицо, отмахнулся:

— Да погоди ты...

И снова полез в автомобиль, и оттуда послышалось:

— Володя, ну, а дальше что?..

Начальник госпиталя растерянно посмотрел на меня, я подмигнул ему: мол, спокойно, не суетись. Всё идёт, как надо.

И в самом деле, всё пошло, как по маслу. Генерал с благодушным видом осмотрел госпиталь.

Ему понравилось, что в хирургическом госпитале фактически шла операция, заходить в палатку он не стал, а, повертев головой, сказал:

— Ладно, верю. А вот пункт санитарной обработки раненых наверняка не работает. Проверим? Или сразу сдаётесь?

— Можно проверить, — нахмурился начальник госпиталя.

— Ну, смотри у меня!

К генералу пристроилась целая свита: тыловое и медицинское начальство, свободные врачи, вездесущие политработники, присланные политуправлением "для поддержания штанов". В палатке ПСО какой-то каперанг, чтобы видеть высокое лицо, втиснулся в душевую кабинку. Его новая каракулевая шапка расположилась как раз под душевым рожком.

Власенко весело огляделся:

— Кто здесь командует?

Ему представился угловатый капитан со следами сажи на щеке.

— Можешь подать воду? — спросил Власенко.

— Конечно.

— Так подавай, что стоишь?

Капитан исчез. Через минуту душевой рожок над головой каперанга издал лёгкий свист, затем из него вылетело облачко пара, и ударила струя воды. Несчастный каперанг ничего не мог понять, по его щекам стекала вода, а он только испуганно хлопал глазами.

— Как водичка? — доверительно спросил Власенко.

— Ничего, вроде...

— С лёгким паром, продолжайте, а мы дальше пойдём. Начальник госпиталя, что сейчас у вас по распорядку дня?

— Обед, товарищ генерал-лейтенант.

— Приглашаешь?

— Почту за честь, всё готово. — Козлов замаялся. — Есть два варианта: один, так сказать, в полевых условиях... И ещё стол накрыт в салоне дома отдыха.

— Давай-ка, милый человек, в дом отдыха. У меня эти полевые условия вот где сидят. — Власенко звучно похлопал себя по тонкой шее.

После превосходного обеда с коньяком генерал торжественно удалился в номер "люкс", оборудованный ему для отдыха. Я пристроился было в кресле в холле вздремнуть, но минут через двадцать Власенко вызвал меня к себе.

Без генеральского мундира, в исподней рубаше, подтяжках и огромных госпитальных тапочках он напоминал уже не Органчика, а черепаху, снявшую для отдыха свой панцирь. На его морщинистой шее торчали седые, с металлическим отливом волоски.

— Ну, что скажешь? — усмехнувшись, спросил он.

— В каком смысле?

— Смысле... Какой оценки, по-твоему, заслуживает госпиталь?

Тут важно было не переиграть. Твёрдая тройка госпиталю гарантировала благоприятный исход для медицинской службы флота. Поэтому я, стараясь говорить занудным голосом, сказал, что, конечно, госпиталь развернулся неплохо, способен решать поставленные задачи, но, к сожалению, генерал-инспектор сделал много замечаний и оценка вряд ли может быть выше трёх баллов. Разве что с плюсом.

Пока я говорил, Власенко с брезгливой жалостью разглядывал меня, потом, нетерпеливо оборвав, сказал:

– Да, брат, ты стал чиновником. Бездушным чиновником. Так и увянешь на паркете. Люди ночь уродовались, госпиталь в снегу развернули, а ведь большая часть персонала – бабы, не умыться, не подмыться. Операционная работает, этого дурака первого ранга чуть в ПСО не сварили, а ты им трояк суешь? Не стыдно тебе?

Я опустил глаза. Мне действительно было стыдно.

– А генерал твой, седенький Зандан Бадмаевич... Или как там его? Он свой народ, можно сказать, грамоте обучил, а ты и ему трояк? Во тебе!

И генерал показал мне хорошо закрученную дулю.

– Значится так: госпиталю – пять, медслужбе флота – четыре. Объяви народу и готовь бумаги. В Североморск едем втроём, прежним составом. Шевченко предупреди, он анекдоты из “армянского радио” не досказал. Ясно?

– Так точно.

– Ступай, а я маленько передохну.

С Михаилом Владимировичем Портным я потом несколько лет прослужил в Медицинской службе ВМФ, сидели в соседних кабинетах, Коноплин стал начальником кафедры в академии. А о “нашествии ста генералов” и одного бездушного чиновника на Северный флот помнят теперь только одни ветераны.